

Гарде и Каберне Рассказы



Павел Булкин

Павел Булкин

Гарде и Каберне. Рассказы

«Автор»

2026

Булкин П.

Гарде и Каберне. Рассказы / П. Булкин — «Автор», 2026

Что общего у музея в Сан-Паулу, ночной биржевой сделки на Диком Западе, автономного самолёта, школьного доклада, первой кириллической записи на Руси, пустынной фрески, салона красоты и экскурсии по Смоленску? В мире Павла Булкина — больше, чем кажется. В каждом из восьми рассказов реальность делает шаг в сторону, а рядом оказывается тот, кто умеет задавать неудобные вопросы: иногда учтиво, иногда язвительно, иногда с совершенно собачьим интересом к еде. Это сборник о памяти, выборе, подлинности и маленьких чудесах, которые случаются не там, где их не ждут. Для читателей, которые любят фантастику без грома и молний, юмор без пустоты и истории, где за смешным прячется важное.

© Булкин П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Гарде и Каберне	5
Собака с чемоданом	23
Курицу, пожалуйста	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Павел Булкин

Гарде и Каберне. Рассказы

Гарде и Каберне

Сан-Паулу не умеет плакать тихо.

Когда в январе приходят дожди, город сдаётся сразу — без предупреждения, без тех вежливых прелюдий из серых облаков, к которым привыкли в других частях света. Здесь небо просто обрушивается. Одним махом, точно кто-то опрокинул океан на двенадцать миллионов голов. Вода бьёт по крышам небоскрёбов, захлёбывается в водосточных трубах, превращает улицы в мутные реки, которые несут с собой пластиковые стаканчики, обёртки от мороженого пиколы и чьи-то потерянные надежды добраться до дома вовремя.

К семи вечера Авенида Паулиста — главный хребет города, его бетонный позвоночник — уже утонула. Фонари горели размытыми пятнами в пелене ливня, словно далёкие маяки. Автобусы ползли по проспекту, как раненые животные, разгребая бамперами воду. Из-за их окон смотрели десятки лиц — одинаково усталых, одинаково смирившихся. Час пик в сезон дождей — это особый круг ада, который Данте не описал только потому, что никогда не бывал в Бразилии.

Воздух пах мокрым асфальтом, выхлопными газами и чем-то сладковатым — то ли жасмином с чьего-то балкона, то ли жжёным сахаром из палатки, где ещё полчаса назад торговали попкорном. Теперь палатка стояла пустая, с хлопающим на ветру тентом.

Девушка бежала.

Не так, как бегают по утрам жители кондоминиумов Жардинс — в дорогих кроссовках, с наушниками, с выверенным ритмом дыхания. Она бежала так, как бегают люди, которых застала стихия: неуклюже, отчаянно, прижимая к груди сумку, перепрыгивая через потоки воды и проигрывая каждому из них. Кроссовки хлопали. Джинсы потемнели до колен, потом до бёдер, потом стало всё равно. Волосы — длинные, тёмные — прилипли к лицу и шее, и она не убирала их, потому что обе руки были заняты: одна прижимала сумку, другая пыталась удержать равновесие на скользкой плитке тротуара.

Где-то сзади раскатился гром — низкий, утробный, такой, от которого вибрирует грудная клетка. Вспышка молнии высветила силуэты деревьев на разделительной полосе, на мгновение превратив их в скрюченные человеческие фигуры.

Она увидела здание.

Вернее — она увидела пустоту. Огромный прямоугольник сухого пространства, парящий над землёй. MASP стоял над Авенидой Паулиста, как портал в другое измерение: колоссальная бетонная коробка, поднятая на четырёх красных опорах, — и под ней, между этими опорами, было сухо. Не совсем сухо — ветер заносил брызги, по краям собирались лужи, — но это была крыша. Это было укрытие.

Она влетела под бетонный козырёк и остановилась, упёршись ладонями в колени. Дыхание вырывалось рваными толчками. Сердце колотилось так, будто пыталось выбраться наружу. Несколько секунд она просто стояла, глядя на стену дождя в полуметре от себя — сплошную, почти непрозрачную, подсвеченную рыжим светом фонарей.

Отдышавшись, она выпрямилась и полезла в сумку.

Смартфон. Мокрый. Экран мигнул — тускло, болезненно — и погас. Она нажала кнопку ещё раз. И ещё. Чёрное зеркало отразило её лицо: мокрое, бледное, с тёмными полукружьями под глазами.

— Merda, — сказала она тихо.

Без телефона — ни такси, ни карты, ни номера, по которому можно позвонить. Она огляделась. Под зданием было почти пусто: несколько человек жались к опорам, пара скейтеров сидели на корточках, глядя на ливень с тем философским спокойствием, которое бывает только у людей, которым совершенно некуда спешить.

Она подняла голову.

Над широкой лестницей, ведущей наверх, светились красные буквы: MASP. Музей искусств Сан-Паулу. За стеклянными дверями наверху горел мягкий, тёплый свет — жёлтый, ровный, спокойный. Свет, который обещал сухой пол, кондиционированный воздух и, может быть — может быть — розетку.

Она посмотрела на дождь. Потом на лестницу. Потом снова на дождь.

Ливень и не думал заканчиваться. Наоборот — казалось, он только набирал силу, словно кто-то там, наверху, проверял, сколько ещё может выдержать этот город.

Она перекинула сумку через плечо, убрала мокрые волосы за уши и начала подниматься по ступеням.

Стеклянные двери разъехались перед ней бесшумно, впуская внутрь, — и за её спиной остался город, дождь и всё, что она знала о своей жизни до этого вечера.

Хотя последнего она пока не понимала.

Внутри было тихо.

Не просто тихо — а тихо так, как бывает только в местах, которые построены для тишины. Ливень, секунду назад бивший в уши сплошным белым шумом, остался за стеклом — приглушённый, далёкий, почти нереальный, словно кто-то убавил громкость мира до минимума. Стеклянные двери закрылись за спиной, и Мариса почувствовала, как воздух изменился: сухой, прохладный, с едва уловимым запахом дерева и чего-то ещё — может быть, старой бумаги, может быть, масляной краски, может быть, того особенного ничего, которым пахнут музеи.

Она стояла на входе, оставляя на светлом полу мокрые следы, и чувствовала себя так, будто вломилась в чужой дом. Вода стекала с джинсов, с кончиков волос, с ремешка сумки — тонкими ручейками, образуя вокруг неё маленькую лужу. Она посмотрела на свои кроссовки — каждый шаг издавал тот отвратительный чавкающий звук, который в тишине музея казался неприлично громким.

Пространство вокруг было просторным — высокие потолки, мягкий рассеянный свет, ощущение воздуха и геометрии. Впереди угадывался вход в первый зал. Где-то в глубине здания что-то негромко гудело — вентиляция, наверное. И больше ничего. Ни голосов, ни шагов, ни музыки. Только тихий, ровный покой, от которого Марисе стало почти неловко за собственное мокрое, взъерошенное, загнанное существование.

— Boa noite!

Мариса вздрогнула.

Из-за стойки, которую она не сразу заметила, вышла девушка — примерно её возраста, невысокая, с короткой стрижкой и широкой, совершенно искренней улыбкой, которая казалась чуть ли не противоестественной для восьми часов вечера в пустом музее. На ней была форменная футболка с логотипом MASP и бейдж с именем — Летисия.

— Вы промокли! — сказала Летисия таким тоном, будто сообщала радостную новость. — Хотите полотенце? У нас есть бумажные.

Она уже протягивала пачку, не дожидаясь ответа. Мариса взяла — машинально, не совсем понимая, почему работник музея так радуется появлению мокрой, жалкой незнакомки за час до закрытия.

— Obrigada, — пробормотала Мариса, промокая лицо и шею. — Я просто... мне нужно переждать дождь. Я зайду, постою немного и...

— Вы пришли на выставку? — перебила Летисия, и глаза её блеснули.

— Нет, нет, я... — Мариса покачала головой. — Не знаю, я вообще не... Мне бы только... У вас нет розетки где-нибудь? Телефон сел.

— Есть, есть, конечно. Внутри найдёте, — Летисия махнула рукой в сторону залов. — Но раз уж вы здесь — посмотрите выставку! — Вы наш последний посетитель в последний день выставки.

— Спасибо, но я правда ничего не понимаю в искусстве, — Мариса выдавила улыбку — вежливую, извиняющуюся. — Я просто постою, обсохну и...

— Сегодня вход бесплатный, — сказала Летисия.

Она произнесла это так, как произносят последний аргумент — спокойно, почти мимоходом, зная, что он срывается.

Мариса помедлила. Посмотрела в сторону стеклянных дверей — за ними ливень стоял стеной, плотный, безнадёжный, без единого намёка на то, что собирается заканчиваться. Потом посмотрела в сторону залов — тёплый свет, сухой пол, обещание розетки.

— Ладно, — сказала она. — Посмотрю. Но я правда ничего в этом не понимаю.

— Это совершенно не обязательно, — ответила Летисия и снова улыбнулась — так, будто Мариса только что сказала именно то, что от неё ждали.

Летисия вышла из-за стойки и указала куда-то вправо. Мариса проследила за её рукой.

На стене висели часы. Обычные, круглые, с белым циферблатом и тонкими чёрными стрелками. Без пятнадцати девять. Нет — Мариса пригляделась — без двух минут девять.

— Ровно в девять начинается экскурсия, — сказала Летисия. — Каждый час. Придёт экскурсовод, проведёт вас по залам. Вам вообще ни о чём не нужно думать — просто идите за ним.

Мариса моргнула.

— Экскурсия? — Она оглянулась — на пустой вестибюль, на пустую стойку, на пустые кресла вдоль стены. — Но... тут же никого нет. Кроме меня.

— И это прекрасно, — сказала Летисия невозмутимо. — Персональная экскурсия. Вам повезло.

— Но...

— Всё будет хорошо, — Летисия произнесла это мягко, но с той странной окончательностью, которая не оставляет места для вопросов. — Подождите здесь. Две минуты.

И она ушла.

Просто развернулась и пошла — обратно за стойку, потом куда-то вглубь, за угол, — и через несколько секунд её шаги стихли, и Мариса осталась одна.

Совсем одна.

Она стояла перед входом в первый зал и слушала тишину. За стеклом шумел дождь — далёкий, как воспоминание. Вентиляция гудела — ровно, монотонно. Больше ничего.

Мариса заглянула в зал.

Просторное помещение, залитое мягким светом. Картины — или что это было — стояли на стеклянных подставках посреди пространства, не на стенах, а будто парили в воздухе, как развешенное бельё. Она читала где-то, что это фишка MASP — прозрачные мольберты. Но сейчас, в пустом зале, без единого человека, они выглядели иначе. Как окна. Или как двери, которые забыли закрыть.

Никого.

Ни посетителей, ни зрителей, ни охранников. Никого.

Мариса отступила назад и посмотрела на часы.

Секундная стрелка ползла по нижней дуге циферблата — медленно, деловито, равнодушно. Прошла шестёрку. Семёрку. Двинулась вверх — мимо восьмёрки, мимо девятки, — и Мариса поймала себя на том, что не может отвести взгляд. Что-то в этом ритме — мерном, неумолимом — было гипнотическим. Стрелка прошла десятку. Одиннадцать. Подбиралась к двенадцати.

Мариса замерла. Перестала дышать.

Пять секунд. Четыре. Три.

Стрелка коснулась двенадцати.

Девять ноль-ноль.

— Добро пожаловать на выставку.

Голос раздался прямо за её шеей. Так близко, что она почувствовала движение воздуха — лёгкий, тёплый выдох — на мокрой коже, чуть ниже затылка.

Мариса вздрогнула — всем телом, от позвоночника до кончиков пальцев — и обернулась.

Перед ней стоял корги.

Собака. Вельш-корги-пемброк. На задних лапах. Ростом ей примерно по пояс. В жилете — классическом, английском, из тёмно-серого твида с тонкой полоской, — в аккуратно завязанной бабочке в мелкий горох и в очках с чёрной прямоугольной оправой, которые сидели на его широкой лисьей морде с таким достоинством, словно он родился в них.

Он смотрел на неё снизу вверх — внимательно, спокойно, с выражением вежливого профессионального терпения.

Мариса не закричала. Не отпрыгнула. Не сделала вообще ничего из того, что, по логике, должен сделать человек, увидевший перед собой собаку в очках и бабочке, стоящую на задних лапах.

Она просто онемела.

Рот открылся, закрылся, открылся снова.

— Я... — сказала Мариса.

Корги чуть наклонил голову набок. Одно ухо дёрнулось.

Он ждал.

— Я... — повторила Мариса.

— ...запрыгнули в последний вагон, — закончил за неё корги.

Голос у него был приятный — глуховатый, спокойный, с той чуть насмешливой интонацией, которая бывает у людей, привыкших говорить перед аудиторией. У людей. У собак. У... Мариса моргнула. Корги поправил очки передней лапой — коротким, невозможно человеческим жестом — и кивнул.

— Ну ладно. Пойдёмте.

Он развернулся и пошёл — неторопливо, деловито, цокая когтями по полу. Хвостик — короткий, пушистый, нелепый — слегка покачивался из стороны в сторону.

Мариса стояла. Рот её по-прежнему был приоткрыт. Палец по-прежнему указывал на вход в первый зал — тот самый, со стеклянными мольбертами, который она видела минуту назад.

Корги остановился у другой двери — левее, меньше, незаметнее — и обернулся через плечо. Через твидовое плечо.

— Это постоянная экспозиция, — сказал он, кивнув в сторону, куда указывала Мариса. В его тоне была мягкая снисходительность преподавателя, объясняющего первокурснику разницу между аудиториями. — Нам сюда.

И Мариса пошла за ним.

Она не могла бы объяснить почему. Может быть, потому что ноги понесли сами. Может быть, потому что мозг, столкнувшись с говорящей собакой в жилете, просто отключил крити-

ческое мышление и перешёл в режим наблюдателя. А может быть — и эта мысль была самой пугающей — потому что всё происходящее казалось совершенно естественным. Как во сне, который знаешь, что сон, но не хочешь просыпаться.

Над дверью, в которую они вошли, висела вывеска. Строгий шрифт, белые буквы на тёмном фоне:

GARDE E CABERNET

Мариса не успела подумать, что это значит, — потому что зал, открывшийся перед ней, забрал все мысли разом.

Он был разделён пополам. Не условно, не метафорически — буквально. Ровная, безупречная линия рассекала пространство надвое: левая сторона была чёрной — стены, потолок, всё, — а правая сияла белизной, чистой, молочной, почти слепящей. Переход был мгновенным, без полутонов, без градиента, словно кто-то разрезал мир бритвой. А пол — пол был выложен чёрно-белыми клетками. Крупными, идеально ровными, уходящими от их ног вглубь зала и чуть дальше, туда, где в центре стояло что-то — Мариса не разглядела что, потому что корги остановился и повернулся к ней.

— Какая часть зала вам больше нравится? — спросил он.

Мариса смотрела на него. На бабочку в мелкий горох. На очки. На короткие лапы, которые каким-то образом удерживали его вертикально. На карие, блестящие, абсолютно серьёзные глаза за стёклами.

Потом она увидела розетку.

— Белая! — воскликнула Мариса и бросилась к правой стене.

Она присела на корточки, расстегнула сумку, выдернула зарядку и воткнула штекер в розетку трясущимися пальцами. Подключила телефон. В голове пульсировала одна-единственная мысль — яркая, горячая, чёткая, как неоновая вывеска: зарядить этот чёртов телефон и сфотографировать говорящего корги. Один снимок. Одно видео. Десять секунд — и у неё будет доказательство. Доказательство чего — она не знала. Но оно ей было нужно. Как воздух, как зонт, как такси, которое она так и не вызвала.

Экран не загорелся.

Мариса нажала кнопку. Ещё раз. Ещё. Вытащила штекер, подула на разъём, вставила обратно. Ничего. Чёрный экран. Мёртвый, холодный, бесполезный кусок стекла и металла.

Она посмотрела на розетку. Белая, обычная, с двумя круглыми отверстиями — бразильский стандарт. Вставлена плотно. Всё правильно. Но тока в ней не было. Как будто розетка была декорацией. Как будто она была частью экспоната.

Мариса обернулась.

Корги стоял ровно там, где она его оставила, — на границе чёрного и белого, на стыке двух клеток. Передние лапы сложены перед грудью. Голова чуть наклонена. Он смотрел на неё с выражением, которое она могла бы поклясться было ожиданием. Не удивлением, не сочувствием — именно ожиданием. Как будто он знал, что так и будет. Как будто он видел это уже десятки раз.

Мариса медленно встала. Убрала зарядку обратно в сумку. Зачем-то отряхнула мокрые джинсы — бессмысленный жест, не имевший ни смысла, ни результата.

— Уважаемая... — начал корги.

— Мариса, — сказала она. И зачем-то добавила: — Приятно познакомиться.

Она поздоровалась с собакой. С собакой в очках и бабочке. В пустом музее в девять часов вечера в разгар тропического ливня. Мир окончательно сошёл с ума, и она, кажется, тоже.

Корги слегка кивнул — учтиво, коротко, как кивают англичане при знакомстве.

— Донна Мариса, — произнёс он, и слово «донна» прозвучало из его уст так, будто иначе к женщине обращаться просто нельзя. — Вы знаете, где вы находитесь?

— В музее, — ответила Мариса. В её голосе прозвучала нотка вызова — тонкая, едва заметная, — потому что это был единственный факт, в котором она ещё была уверена.

— В музее, — повторил корги, и его интонация изменилась — стала глубже, весомее, как у лектора, который произносит первую фразу перед полной аудиторией. — *Museu. Mouseion.* Знаете, что это значит? Не «хранилище картин». Не «место, куда ходят по воскресеньям, потому что нечем заняться». *Mouseion* — это Храм Муз. Храм, донна Мариса. Место, где обитают Музы. Девять дочерей Зевса и Мнемозины — богини памяти, прошу заметить. Не красоты, не мудрости — памяти. Это важно, и мы к этому вернёмся.

Он сделал паузу. Снял очки, протёр их краем жилета — как самый обычный профессор из самого обычного университета — и надел обратно.

— Когда вы входите в музей, вы не просто входите в здание. Вы входите в пространство, где время работает иначе. Где предметы значат больше, чем они есть. Где вещи говорят.

Он посмотрел на Марису поверх очков.

— Иногда — буквально.

Мариса машинально опустила руку в сумку и нажала кнопку смартфона. Ничего. Экран был мёртв. В розетке не было тока. Телефон не подавал признаков жизни — ни вибрации, ни свечения, ни даже того жалкого мерцания, которое он выдал под дождём. Он был мёртв окончательно, бесповоротно, будто никогда и не был живым.

Мариса вытащила руку из сумки. Посмотрела на корги. Потом — впервые — по-настоящему посмотрела вглубь зала.

В центре, на пересечении чёрных и белых клеток, на невысоком постаменте стояла статуя. Мужчина — бородатый, истощённый, полуобнажённый — сидел, скрестив ноги, и смотрел куда-то перед собой с выражением такого абсолютного, яростного спокойствия, что Мариса почувствовала необъяснимое желание отвести взгляд.

Корги подошёл к постаменту. Остановился рядом. Поправил бабочку.

— Диоген Синопский, — сказал он. — Человек, которому не нужен был смартфон.

Он помолчал, глядя на статую снизу вверх, и добавил — тише, почти про себя:

— Впрочем, ему вообще мало что было нужно.

Мариса подошла ближе. Её мокрые кроссовки чавкнули на чёрно-белом полу — звук, неуместный и громкий, как кашель в церкви.

Они стояли вдвоём перед Диогеном — девушка в мокрых джинсах и собака в жилете — и дождь за стенами музея лил так, будто не собирался заканчиваться никогда.

— Знаете, чем он прославился?

Корги кивнул на статую. Диоген смотрел перед собой — каменный, безразличный, вечный.

На лице Марисы появилась улыбка. Первая за этот вечер — осторожная, неровная, как свет, пробивающийся сквозь щель в двери.

— Он говорил...

— Ну? — корги чуть подался вперёд.

— Он говорил, что он собака, — ответила Мариса и прижала ладонь ко рту, но смех уже вырвался — короткий, нервный, немного истеричный, — и зазвенел под высоким потолком чёрно-белого зала, отражаясь от стен и рассыпаясь по клетчатому полу.

Корги не обиделся. Корги, кажется, обрадовался.

— Именно! — он поднял переднюю лапу с таким энтузиазмом, будто студентка только что правильно ответила на экзаменационный вопрос. — Кинос. По-гречески — пёс. Киник — тот, кто живёт как собака. Ест когда голоден, спит когда устал, говорит что думает и не притворяется тем, кем не является. Вот он, — лапа указала на статую, — отказался от дома, от имущества, от положения в обществе. Жил в бочке. В глиняном пифосе, если быть точным, но

бочка звучит драматичнее. Александр Македонский — величайший завоеватель своего времени, повелитель половины мира — пришёл к нему и спросил: «Чего ты хочешь? Проси что угодно». Знаете, что ответил Диоген?

— Отойди, ты загромождаешь мне солнце, — сказала Мариса.

— А вы не так уж мало знаете, донна Мариса, — корги посмотрел на неё с тем выражением, которое у собак обычно означает одобрение, но у этой конкретной собаки означало что-то большее. — Человек, которому принадлежал мир, стоял перед человеком, которому не принадлежало ничего. И тот, у кого ничего не было, оказался свободнее.

Он помолчал. Потом повернулся к Марисе — всем корпусом, как поворачиваются, когда собираются задать важный вопрос.

— А вот вы, например, кто?

— Я Мариса, — сказала она. И тут же подумала, что уже говорила это. Зачем-то улыбнулась снова — виновато, как на собеседовании.

— Это ваше имя, — сказал корги терпеливо. — А кто тот, кого зовут Марисой?

Мариса открыла рот. Закрыла. Открыла снова.

— Ну... — она пожала плечами, и с них скатились последние капли дождевой воды. — Ну я. Учитель физкультуры.

— Это ваша профессия, — сказал корги. Голос его был мягким, но в нём появилась та особая нота — настойчивая, тихая, похожая на звук, с которым стрелка компаса возвращается к северу. — Но не вы сами. Мариса — это имя, которое вам дали родители. Учитель физкультуры — это то, за что вам платят деньги. Но ни имя, ни работа — это не вы. Уберите имя — вы останетесь. Уберите профессию — вы никуда не денетесь. Так кто же вы?

Мариса молчала.

Вопрос был простым. Три слова. «Кто же вы». Ребёнок мог бы его задать. Но он упал в тишину пустого зала и остался лежать — тяжёлый, как камень, брошенный в воду, от которого расходятся круги.

Она смотрела на Диогена. Диоген смотрел сквозь неё. Чёрно-белые клетки расходились от её ног во все стороны, как шахматная доска, на которой она была единственной фигурой и не знала ни своего цвета, ни своего хода.

Кто я?

Мариса открыла рот — и ничего не сказала.

Пока она думала, что-то изменилось. Что-то в воздухе рядом с ней сместилось — едва заметно, на полградуса. Она скосила глаза вниз.

Корги стоял неприлично близко к её сумке. Нос — чёрный, влажный, блестящий — двигался мелкими, быстрыми рывками. Ноздри раздувались. Очки сползли на кончик морды. Жилет, бабочка, профессорские манеры — всё это на мгновение исчезло, и осталась просто собака, которая что-то учуяла.

— У вас сэндвичи, да? — спросил корги.

Он даже не пытался скрыть интерес. Хвостик, короткий и пушистый, дрогнул — один раз, быстро, — и замер, как будто его поймали на чём-то неприличном.

Мариса посмотрела на него. На очки, съехавшие набок. На нос, который всё ещё подрагивал. На передние лапы, которые секунду назад были сложены с профессорским достоинством, а теперь слегка переминались, как у щенка перед миской.

— Да, — сказала она.

— Очень хорошо, — корги выпрямился, поправил очки и вернул себе невозмутимость — быстро, почти мгновенно, как актёр, вспомнивший, что он на сцене. Но кончик хвоста всё ещё подрагивал, и Мариса это видела.

— Пойдёмте, донна Мариса, — он двинулся к выходу из зала — к узкому проёму в дальней стене, за которым угадывалось новое пространство, новый свет, новый воздух. — Может быть, в следующем зале мы разберёмся, кто же вы такая.

Мариса бросила последний взгляд на Диогена. Ей показалось — показалось, конечно, не более, — что каменное лицо философа слегка улыбается. Тень. Игра света. Ничего больше.

Она пошла за корги.

Вопрос остался за ней — невидимый, невесомый, привязанный к ней, как тень к подошвам мокрых кроссовок.

Кто я?

Второй зал был другим.

Если первый зал разрезал мир на чёрное и белое, на «да» и «нет», на «всё» и «ничего», — то этот зал его одевал.

Ткани. Десятки, сотни тканей — развешенных, разложенных, задрапированных, натянутых на невидимые формы, струящихся с потолка, сложенных в геометрические конструкции, которые балансировали на границе между скульптурой и платьем. Шёлк, бархат, хлопок, что-то грубое и рогожное, что-то невесомое и прозрачное, как утренний туман. Цвета — наконец-то цвета — ударили по глазам после чёрно-белого аскетизма предыдущего зала: алый, индиго, золотой, изумрудный, пыльно-розовый, и оттенки, которым Мариса не знала названий.

Над входом, крупными буквами, выложенными из булавок — сотен булавок, впечатанных в стену, — было написано:

MODA

Мариса остановилась на пороге. Корги прошёл вперёд — деловито, привычно, как человек, входящий в собственный кабинет, — и обернулся, поджидая.

— Мода? — сказала Мариса. — Это искусство?

Корги поправил бабочку.

— Это, — сказал он, — первый ответ человечества на вопрос, который я вам только что задал.

Корги шёл вдоль первого ряда экспонатов — медленно, заложив передние лапы за спину, как профессор, прогуливающийся между рядами парт. Твидовый жилет чуть морщился на его спине при каждом шаге. Мариса шла рядом, и мокрые кроссовки больше не чавкали — то ли подсохли, то ли она перестала замечать.

— Знаете, донна Мариса, — сказал корги, не оборачиваясь, — люди думают, что одежда — это про тепло. Или про приличия. Мол, нельзя же голым ходить, засмеют. — Он остановился у манекена, затянутого в платье такого глубокого синего цвета, что оно казалось вырезанным из ночного неба. — Но это неправда. Одежда — это язык. Первый язык, который видят другие, прежде чем вы откроете рот. То, что вы носите, говорит о вас больше, чем ваши слова.

Он повернулся к Марисе и посмотрел на неё — сверху вниз по джинсам, по мокрой футболке, по кроссовкам — быстро, профессионально, без осуждения. Потом его взгляд скользнул на сумку.

— Вот, например. Вы — учитель физкультуры. Хорошо. Но эта сумка говорит о вас больше, чем вы думаете.

Мариса машинально прижала сумку к боку.

— Что не так с моей сумкой?

— Всё так, — сказал корги. — В том-то и дело.

Он смотрел на сумку. Глаза за стёклами очков чуть сузились. Ноздри дрогнули — едва заметно, почти незаметно, — и на мгновение, на одну крохотную долю секунды, его взгляд потерял фокус, и Мариса увидела, как он уходит куда-то внутрь себя, в то место, где нет ни

жилета, ни бабочки, ни лекций об искусстве, а есть только запах — тёплый, солоноватый, обёрнутый в фольгу, спрятанный в боковом кармане, — запах сэндвичей.

Корги моргнул. Кончик носа дёрнулся. Он отвернулся от сумки — резко, почти сердито, как человек, оттаскивающий себя от витрины кондитерской.

— Ну так вот, — сказал он чуть громче, чем нужно. — То, что вы надеваете утром, стоя перед шкафом, — это выбор. И этот выбор может быть способом сказать миру, кто вы на самом деле.

Он двинулся дальше, вдоль ряда манекенов — мимо льняного платья, мимо костюма-тройки из верблюжьей шерсти, мимо чего-то невероятного, расшитого золотыми нитями, что выглядело так, будто его носила сама Клеопатра, — и Мариса шла за ним, переводя взгляд с одного экспоната на другой, чувствуя себя странно маленькой среди всех этих тканей, форм и цветов.

— А можете обмануть, — добавил корги, и голос его стал тише, задумчивее. — Надеть то, чем вы не являетесь. Стать кем-то другим. Спрятаться.

Они свернули в дальнюю часть зала — и Мариса почувствовала, как воздух изменился. Стало темнее. Ткани здесь были другие — тяжёлые, плотные, непроницаемые. Кожа. Чёрная, матовая, тугая, как кожа хищника. Корсеты — жёсткие, с рёбрами из металлических пластин, которые выглядели так, будто были созданы не для красоты, а для защиты, — висели на стойках, как доспехи в рыцарском зале. Рядом — плащи. Длинные, до самого пола, однотонные, чёрные, с глухими воротниками и прямыми линиями, которые не допускали ни складки, ни вольности. Мариса видела такие в кино — в «Матрице», в тех сценах, где героини шли по коридорам в замедленной съёмке, и полы плащей развевались за ними, как крылья.

— Похоже на броню, вам не кажется? — сказал корги. Он остановился перед одним из плащей и смотрел на него снизу вверх — маленький, пушистый, в бабочке, — и в этом контрасте было что-то одновременно комичное и грустное. — Люди, которые носят такое, не украшают себя. Они закрываются. Кожа, заклёпки, чёрный цвет — это не стиль. Это стена. Послание миру: не подходи.

Мариса фыркнула.

— Я бы такое никогда не надела.

— Правда? — корги повернулся к ней. За очками мелькнуло что-то — не насмешка, нет, — скорее тень вопроса, который он решил не задавать. — Ну ладно.

Он пошёл дальше. Мариса двинулась следом — мимо последних манекенов, мимо стоек с обувью, мимо перчаток, вееров, шляп, — зал сужался, свет становился мягче, приглушённое, и она чувствовала, что они приближаются к концу. Пространство закруглялось, собиралось, как финальный аккорд, — и прямо у выхода, на невысоком белом постаменте, под стеклянным куполом, отдельно от всего, как драгоценность, стоял последний экспонат.

Мариса остановилась.

Моргнула.

Под стеклом сидела игрушка. Маленькая, с большой головой, с капризно оттопыренной нижней губой и хитрыми, чуть сонными глазами. В крошечном дизайнерском комбинезоне. С биркой.

Лабубу.

Мариса знала, что это. Конечно, знала — весь интернет был забит этими существами. Девочки из её школы вешали их на рюкзаки. Блогеры распаковывали их в сторис, визжа от восторга. Коллекционеры перепродавали их за безумные деньги. Но здесь? В музее? Под стеклом? Рядом с корсетами и шёлком?

— Что это? — Мариса повернулась к корги. — Почему это в зале моды?

Корги стоял чуть поодаль. Он смотрел на Лабубу — долго, неподвижно, с выражением, которое Мариса не могла прочесть. Не презрение. Не восхищение. Что-то другое. Что-то похожее на усталость хирурга, который видит одну и ту же болезнь слишком часто.

— А это... — он начал и не закончил. Снял очки, протёр их, надел обратно. Посмотрел на Лабубу ещё раз — коротко, как смотрят на часы, когда не хотят знать, сколько времени. — Это конец зала моды.

Он произнёс это так, что Мариса не поняла — то ли он имел в виду, что экспонат расположен в конце зала, то ли что мода на этом заканчивается. Что-то в его тоне подсказывало, что, возможно, и то, и другое.

— Пойдёмте, — сказал корги и двинулся к выходу. Чуть быстрее, чем обычно. — Дальше зал... зал изобразительного искусства.

Он запнулся. Впервые за весь вечер — запнулся. Как будто следующее слово было тяжелее предыдущих. Как будто то, что ждало за дверью, требовало от него чего-то большего.

Мариса оглянулась на Лабубу. Игрушка сидела под стеклом — маленькая, безобидная, с нелепой надутой мордочкой — и молчала. Но у Марисы осталось странное ощущение, что она только что увидела что-то важное. Что-то, чего корги не захотел объяснять.

Она пошла за ним.

Зал изобразительного искусства был огромен.

Потолки уходили вверх и терялись в мягком, рассеянном свете — таком ровном, что невозможно было понять, откуда он идёт. Картины здесь стояли на тех самых стеклянных мольбертах, которые Мариса видела раньше из вестибюля, — прозрачные подставки, парящие над полом, и каждое полотно висело в воздухе, ни к чему не прислонённое, ничем не подпертое, как будто картины существовали сами по себе, отдельно от стен, от пола, от всего. Можно было обойти любую из них и увидеть обратную сторону — грубый холст, деревянные планки подрамника, следы чужих рук.

Их было много. Десятки. Мариса шла мимо них, и они мелькали как окна поезда — лица, пейзажи, пятна цвета, фигуры, руки, небо, — и она не задерживалась ни у одной, потому что не знала, у какой задержаться. Не знала, куда смотреть, что искать, что чувствовать. Она была туристом в чужой стране без карты и без языка.

Корги шёл рядом — молча, терпеливо, не торопя. Лапы цокали по полу. Хвост не двигался. Он ждал.

— А у вас есть любимая картина? — спросила Мариса.

Она спросила это просто так — чтобы заполнить тишину, чтобы не чувствовать себя такой потерянной, — но эффект был такой, будто она нажала на кнопку, которую искала всю жизнь.

Корги остановился.

Повернулся к ней. Очки блеснули. Уши — оба разом — встали торчком, и что-то произошло с его лицом. С мордой. С чем бы это ни было. Оно ожило. За секунду до этого перед ней стоял сдержанный, чуть ироничный лектор, а теперь — теперь перед ней стоял кто-то, кого позвали по имени.

— Есть, — сказал он. И голос его изменился — стал теплее, мягче, на полтона ниже. — Пойдёмте.

Он рванул вперёд — не пошёл, а именно рванул, — и Мариса впервые увидела его настоящую скорость. Короткие лапы замелькали так быстро, что стали почти невидимы, жилет развевался на спине, бабочка съехала набок, и он нёсся между стеклянными мольбертами — ловко, привычно, не задевая ни один, — как маленький твидовый болид. Мариса побежала за ним — и снова чавкнули кроссовки, и снова звук раскатился по пустому залу, но ей уже было всё равно.

Корги затормозил — резко, всеми четырьмя лапами — перед одним из мольбертов. Сел. Задрал голову. И замер.

Мариса подошла, тяжело дыша, и посмотрела на картину.

Она была большой — больше, чем ожидалось. Метра полтора в ширину, может больше. И первое, что увидела Мариса, — было мясо.

Мясо было везде. Оно занимало почти всё пространство картины — туши, рёбра, окорока, колбасы, свиная голова с полуприкрытыми глазами, куски сала, в которых свет вязнул, как в воске. Прилавок мясника — массивный, деревянный, заваленный плотью — тянулся через весь передний план. Где-то стояла корзинка с хлебом. Где-то — блюдо с рыбой. Но мясо доминировало, подавляло, заполняло собой всё, и Мариса почувствовала, как в животе шевельнулся голод — тупой, простой, животный.

— Питер Артсен, — произнёс корги. Голос его звучал так, как звучит голос человека, представляющего гостям своего лучшего друга. — «Прилавок мясника со сценой бегства в Египет». Тысяча пятьсот пятьдесят первый год.

Он встал на задние лапы — вытянулся, подрос, — и передней лапой указал на угол картины, где жир стекал с огромного куска свинины, образуя тяжёлую, маслянистую каплю, которая, казалось, вот-вот упадёт. Четыреста семьдесят с лишним лет она собиралась упасть — и не падала.

— Посмотрите, как он пишет жир, — сказал корги, и в его голосе появилось что-то похожее на благоговение. — Вот эту вот каплю. Видите, как свет проходит сквозь неё? Она полупрозрачная. Она живая. Вы можете почувствовать, что она тёплая. Что она сейчас стечёт по пальцам. Артсен писал мясо так, как другие писали мадонн — с любовью, с нежностью, с абсолютным, безоговорочным восхищением.

Он перевёл лапу левее — к связке колбас, свисающих с крюка.

— А вот здесь — видите фактуру? Оболочка, перевязка, вот этот блеск — он не просто нарисовал колбасу. Он нарисовал идею колбасы. Платоновский идеал колбасы, если хотите.

Корги говорил — быстро, увлечённо, перескакивая от одной детали к другой, — и Мариса слушала, и что-то странное происходило прямо перед ней. Что-то, что она не могла объяснить, но видела совершенно отчётливо.

Он менялся.

Когда корги говорил о светотени и композиции — он был лектором. Спина прямая, очки на месте, интонация выверенная. Но стоило ему произнести слово «мясо» — а он произносил его часто, — и что-то сдвигалось. Ноздри раздувались. Язык — розовый, влажный — на долю секунды показывался из пасти и исчезал. Хвост, который всё это время был неподвижен, начал подрагивать — мелко, предательски. Лектор исчезал, и на его месте оказывалась собака — самая настоящая, с горящими глазами и учащённым дыханием, — а потом лектор возвращался, поправлял очки и продолжал фразу с того места, где остановился.

Туда — и обратно. Профессор — пёс. Пёс — профессор. Как маятник. Как переключатель, который кто-то дёргает изнутри.

— Но вот в чём дело, донна Мариса, — корги наконец оторвался от картины и повернулся к ней. Очки снова съехали на кончик носа. Он их не поправил. — Тысяча пятьсот пятьдесят первый год. Шестнадцатый век. Нидерланды. Такого понятия, как «натюрморт», ещё не существует. Его не будет ещё полвека. Картины — серьёзные, большие, настоящие картины — нужно писать на религиозные темы. Библейские сюжеты. Святые. Мученики. Мадонна с младенцем. Распятие. Вознесение. Вот это вот всё. — Он махнул лапой, обводя воображаемые ряды канонических полотен. — Если ты художник и хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьёз, чтобы тебе платили, чтобы тебя не сожгли, в конце концов, — ты пишешь Бога. Точка.

Он помолчал.

— А теперь представьте: вы — Питер Артсен. Вы живёте в Антверпене. Вы гений. И вы любите писать мясо. Вы обожаете писать мясо. Вы смотрите на свиную тушу — и видите в ней больше красоты, больше правды, больше жизни, чем в сотне ангелов с крыльями. Но вы не можете просто взять и нарисовать мясную лавку. Вас не поймут. Вас осудят. Церковь спросит: «Где Бог?» И у вас будут проблемы.

Корги повернулся к картине. Посмотрел на неё снизу вверх — маленький, в жилете, с подрагивающим хвостом.

— И вот что он делает. Посмотрите на картину внимательно. Очень внимательно. Не на мясо — мимо мяса. Сквозь мясо. Что вы видите?

Мариса шагнула ближе. Наклонилась. Она смотрела — на туши, на окорока, на колбасы, — и не видела ничего, кроме мяса. Мясо было повсюду. Мясо заслоняло собой всё, как крик заглушает шёпот.

— Я ничего не... — начала она.

— Левее, — сказал корги. — Дальше. За прилавком. В глубине.

Мариса сощурилась. За прилавком — за всем этим великолепием плоти, жира и крови — открывалась перспектива. Улица. Дома. Маленькие фигуры. И там, на крохотном клочке пространства, который занимал, может быть, одну двадцатую часть картины, — Мариса увидела.

Женщина на осле. Синий плащ. Протянутая рука, подающая что-то нищему у обочины. Рядом — мужчина, ведущий осла за поводья.

— Это... — Мариса прищурилась. — Это Дева Мария?

— Бегство в Египет, — подтвердил корги. — Мария, Иосиф и младенец Христос. Размером с ноготь. За пятью килограммами свинины.

Он снял очки. Протёр их. Надел. И улыбнулся — по-настоящему, широко, так, что стали видны мелкие белые зубы.

— Понимаете, что он сделал? Артсен нарисовал то, что хотел, — мясо, жир, плоть, всю эту грубую, тяжёлую, прекрасную телесность жизни. Он нарисовал мир таким, каким видел его — жадным, голодным, потным, земным. Но он оставил лазейку. Крошечную Марию на крошечном осле в крошечном углу. И если кто-то из церковников спрашивал — а спрашивали, поверьте, — он мог ткнуть пальцем и сказать: «Вот. Мария. Религиозный сюжет. Бегство в Египет. Всё по правилам. Отстаньте».

Корги рассмеялся — коротко, по-собачьи, больше похоже на серию быстрых выдохов.

— Это был тончайший троллинг, донна Мариса. Четыреста семьдесят лет назад — и до сих пор работает. Художник как бы говорит нам: мы все грешны. Нас больше волнует, что у нас на ужин, чем спасение нашей бессмертной души. Мясо — вот оно, на переднем плане, огромное, жирное, блестящее. А Бог — вот он, в уголке, маленький, едва заметный. Но формально — формально! — я нарисовал Марию. Так что всем спасибо, все свободны.

Он помолчал, глядя на картину. Хвост дрогнул. Ноздри раздулись — в последний раз — и успокоились.

— Гениальность, — сказал корги тихо, — это не когда тебе всё можно. Гениальность — это когда тебе почти ничего нельзя, а ты всё равно делаешь то, что должен. В тех условиях, какие есть. С теми ограничениями, которые на тебя наложили. И находишь способ остаться собой.

Остаться собой.

Мариса стояла рядом, и мысль пришла сама — негромкая, но отчётливая, как щелчок, как последний фрагмент пазла, который встаёт на место.

Он выбрал эту картину.

Из всех картин — сотен картин — в этом огромном, бесконечном зале, полном мадонн, и пейзажей, и портретов королей, и абстракций, и всего, что человечество создало за тысячи лет, — он выбрал картину с мясом. Картину, перед которой у него подрагивал хвост и разду-

вались ноздри. Картину, от которой он переставал быть профессором и становился псом — на секунду, на полсекунды, — и не стыдился этого.

Он выбрал картину про художника, который остался собой.

Потому что корги — совершенно, абсолютно, неопровержимо — знал, кто он такой.

Он — собака.

Не лектор, который выглядит как собака. Не человек в собачьем теле. Не персонаж, притворяющийся кем-то другим. Собака. В жилете, в бабочке, в очках — но собака. И жилет, и бабочка, и очки, и вся эта учёность, вся эта энциклопедическая эрудиция — всё это было надето поверх, как платье поверх кожи, но под ним — под твидом, под горохом бабочки, под стёклами очков — был пёс, который любит мясо и не считает нужным это скрывать.

Как Артсен. Как Диоген.

Мариса посмотрела на корги. Корги посмотрел на Марису. Между ними висела картина с пятью килограммами свинины и крошечной Мадонной в углу.

— Вы ведь специально её выбрали, — сказала Мариса. Не спросила — сказала. — Из-за мяса.

Корги поправил бабочку. Очки блеснули. Хвост дрогнул — один раз.

— Из-за гениальности, — ответил он с достоинством.

Но хвост дрогнул ещё раз.

В конце зала, на отдельном мольберте, за невидимой чертой, которую Мариса почувствовала, прежде чем увидела, — стоял квадрат.

Чёрный. На белом фоне. Больше ничего.

Мариса остановилась. Корги остановился рядом — молча, не торопя, давая ей время.

Она знала, что это. Все знали, что это. Чёрный квадрат Малевича — самая знаменитая, самая высмеянная, самая непонятая картина в истории. Табличка на мольберте сообщала: «Репродукция. Оригинал — Государственная Третьяковская галерея, Москва». Но даже репродукция — даже копия копии — стояла здесь с таким весом, с такой молчаливой неопровержимостью, что воздух вокруг неё казался плотнее.

Мариса смотрела.

Чёрный квадрат на белом поле. Ни линии, ни штриха, ни намёка на изображение. После мяса Артсена — после всего этого жира, и крови, и блеска, и жизни — чёрная пустота. Как точка в конце предложения. Как дверь, которую закрыли.

Как конец.

И тогда что-то шевельнулось в её голове — тихо, осторожно, как зверёк, выглядывающий из норы. Она вспомнила. Лабубу. Маленькая игрушка под стеклом — в самом конце зала моды. Тоже — в конце. Тоже — отдельно от всего. Тоже — без объяснения.

Мариса повернулась к корги.

— Лабубу, — сказала она. — Он тоже был в конце.

Корги не ответил сразу. Он смотрел на Чёрный квадрат — снизу вверх, задрав широкую лисью морду, — и молчал. Потом снял очки. Потом надел их обратно. Потом сказал:

— Вы играете в шахматы, донна Мариса?

— Нет.

— Жаль. Тогда объясню. В шахматах есть термин — гарде. Garde. Это нападение на ферзя. На королеву. Самую сильную фигуру на доске. Когда вам объявляют гарде — это не шах. Вам не грозит мат. Но вам говорят: то, что у вас есть самого ценного, — под ударом. Защищайте.

Он кивнул на Чёрный квадрат.

— Вот это — гарде. На всё изобразительное искусство. Малевич в тысяча девятьсот пятнадцатом году посмотрел на всё, что человечество нарисовало за тысячи лет, — на мадонн, и

ангелов, и мясо Артсена, и подсолнухи Ван Гога, и потолок Сикстинской капеллы, — и положил на мольберт чёрный квадрат. И сказал: «А теперь объясните мне, в чём разница. Если это — не искусство, тогда что — искусство? Где граница? Кто её провёл? Почему?»

Мариса молчала. Мысль, которая шевельнулась минуту назад, теперь росла — быстро, жадно, как огонь, нашедший кислород.

— Лабубу, — сказала она медленно, и собственный голос показался ей чужим, — это... чёрный квадрат моды?

Корги повернулся к ней. Очки блеснули. За стёклами — Мариса могла поклясться — мелькнуло что-то похожее на гордость.

— Если массовая игрушка с фабрики — это мода, — сказал он, — то что тогда не мода? Если Лабубу на сумке — это стиль, то что тогда — не стиль? Если всё — искусство, то ничего — не искусство. Гарде, донна Мариса. Нападение на королеву. Вопрос, который требует ответа.

Он прошёлся вдоль мольберта — два шага туда, два обратно, — как маленький адвокат перед присяжными.

— И вот что важно. Гарде — это не мат. Это не конец. Это предупреждение. Оно говорит: защищай то, что для тебя ценно. Разберись, что настоящее, а что — нет. Что — искусство, а что — пустота, нарисованная чёрной краской. Что — мода, а что — игрушка, которую повесили на сумку, потому что так сделали все остальные.

Он остановился. Посмотрел на Марису.

— Что — вы, а что — просто имя и должность.

Тишина повисла между ними — плотная, почти осязаемая. За стенами музея шёл дождь. Или не шёл. Мариса давно перестала слышать.

— А почему выставка называется «Гарде и Каберде»? — спросила она. — Каберде — это...

— Каберне, — поправил корги. Кончик хвоста дрогнул. — Каберне Совиньон. Красное вино. Полнотелое, терпкое, с нотами чёрной смородины и, если повезёт, тёмного шоколада.

Он помолчал — секунду, не больше.

— Видите ли, донна Мариса, у вас есть два способа ответить на гарде. Первый — принять вызов. Поверить, что игра реальна, что фигуры важны, что королеву нужно спасти. Защищать свои ценности. Разбираться, что настоящее, а что подделка. Думать. Страдать. Искать смысл.

Он снял очки и посмотрел на неё — без стёкол, без фильтра, просто карими, блестящими, собачьими глазами.

— А второй — открыть бутылку Каберне. Отрезать кусок мяса — вот того, с картины Артсена, с жиром, который стекает четыреста семьдесят лет. Сесть. Налить. Выпить. И не играть ни в какие шахматы.

Он надел очки обратно.

— Выставка называется «Гарде и Каберне», потому что это два честных ответа на один и тот же вопрос. И оба — правильные.

Они стояли у выхода из выставки — там, где кончался мягкий свет залов и начинался вестибюль с его белыми стенами и высоким потолком. Стеклопакеты были впереди. За ними — Мариса видела — уже не было дождя. Небо за стеклом было не чёрным, а серым — тем особенным серым, который бывает перед рассветом, когда ночь уже кончилась, но утро ещё не решилось начаться.

Мариса остановилась. Повернулась к корги.

Он стоял на границе — одна лапа в зале, другая в вестибюле. Жилет был чуть помят. Бабочка съехала. Очки — на месте.

— Спасибо, — сказала Мариса.

Она хотела сказать что-то ещё — что-то большее, что-то о Диогене, и мясе, и чёрных квадратах, и о том, что она, кажется, впервые в жизни провела ночь в музее и не хочет уходить, — но слова не шли. Вместо этого она расстегнула сумку.

Корги замер.

Уши встали торчком. Нос дрогнул. Глаза за стёклами очков расширились — чуть-чуть, на миллиметр, но Мариса увидела.

Она достала свёрток из фольги. Развернула. Внутри лежали два сэндвича — один с беконом, другой с сыром. Оба слегка помялись в сумке, оба чуть отсырели, но запах — запах солёного, копчёного, тёплого бекона — развернулся в воздухе музея, как знамя.

Корги слотнул. Адамово яблоко — если у корги есть адамово яблоко — дёрнулось. Хвост заработал — быстро, неудержимо, сметая последние остатки профессорского достоинства.

Мариса протянула ему сэндвич с беконом.

— С мясом, — сказала она. — Как на картине Артсена. Только без Мадонны в углу.

Корги взял сэндвич обеими передними лапами. Посмотрел на него. Посмотрел на Марису. Поправил очки — в последний раз.

— Донна Мариса, — сказал он с достоинством, — это лучшее, что случилось с изобразительным искусством после тысяча пятьсот пятьдесят первого года.

И откусил.

Прожевал. Проглотил. Прикрыл глаза — на секунду, не больше. Потом открыл их, и они были серьёзными.

— Всегда помните, кто вы, донна Мариса, — сказал он. — Знайте, куда вы идёте и зачем. Мариса кивнула. Горло сжалось — непонятно почему.

Корги посмотрел на неё — снизу вверх, по верху очков, которые снова сползли на кончик носа.

— Вы знаете, куда идти?

— Да, — сказала Мариса.

Мариса вышла из музея.

Дождь кончился. Она не помнила, когда именно — может быть, час назад, может быть, три, — но небо за стеклянными дверями было чистым, и первый свет уже лежал на мокрых крышах, и воздух пах так, как пахнет город после ливня — свежо, влажно, новорождённо.

Она остановилась на верхней ступени лестницы. Достала из сумки смартфон — по привычке, не думая. Экран был мёртв. Она убрала его обратно.

Ей не нужно было такси.

Ей нужен был кофе. Американо.

Мариса спустилась по ступеням и зашагала вниз по Авенида Паулиста — уверенно, не оглядываясь, в сторону, где через два квартала был автомат, который работал круглосуточно.

Она точно знала, куда идёт.

Сан-Паулу умеет смеяться громко.

Когда в ноябре приходит весна — настоящая, бразильская, та, от которой деревья на Авенида Паулиста за одну ночь покрываются фиолетовым цветом жакаранды, — город просыпается так, будто ему подарили второй день рождения. Солнце бьёт в стеклянные фасады небоскрёбов, и те отбрасывают свет друг на друга — десятками, сотнями зайчиков, — и весь проспект сияет, мерцает, искрится, как река, в которую бросили горсть монет. Продавцы моро-

женого расставляют палатки. Скейтеры разминаются под зданием MASP — ещё сонные, но уже счастливые, потому что асфальт сухой, и доски катятся легко, и жизнь катится легко, и всё катится — легко.

По тротуару Авенида Паулиста, залитому утренним солнцем, бежала собака.

Маленькая. Рыжая. С короткими лапами, которые мелькали так быстро, что казались размытыми, как спицы велосипедного колеса. Тело — плотное, продолговатое, низко посаженное — покачивалось из стороны в сторону при каждом шаге, и если смотреть сзади, она была похожа на булочку. На тёплую, свежую, только из печи булочку, которая каким-то чудом обзавелась лапами и решила прогуляться.

Уши — большие, треугольные, стоячие — ловили каждый звук. Хвост — короткий, пушистый, задранный вверх — работал без остановки, как маленький метроном радости. Это была собака. Совершенно, абсолютно, бесспорно — собака. Со всеми атрибутами: влажный нос, розовый язык, вывалившийся набок от бега, и тот особый взгляд, которым собаки смотрят на мир, — взгляд существа, для которого каждое утро — первое утро на земле.

Только очки были лишними.

Чёрная прямоугольная оправа сидела на широкой лисьей морде — чуть криво, чуть низко, сползая к носу при каждом прыжке, — и собака время от времени останавливалась, задирала переднюю лапу и поправляла их коротким, невозможно аккуратным движением. Потом бежала дальше.

У перекрёстка она замерла.

Нос дёрнулся. Ноздри раздулись — широко, жадно. Уши развернулись, как спутниковые тарелки. Всё тело напряглось, подалось вперёд, замерло в стойке — на полсекунды, на секунду, — и собака вдохнула ещё раз, глубоко, с тем сосредоточенным выражением, которое бывает у сомелье, определяющего урожай по аромату.

Что-то пахло. Что-то пахло правильно. Откуда-то — слева, нет, впереди, нет, чуть левее и впереди — тянуло чем-то тёплым, мясным, сложным, с нотой чего-то копчёного, чего-то сливочного, чего-то такого, от чего хвост перестал быть метрономом и стал вертолётom.

Собака побежала — быстрее, чем раньше, — вниз по Авенида Паулиста, мимо палаток, мимо фонарей, мимо людей, которые улыбались ей вслед, потому что невозможно не улыбнуться, глядя на бегущего корги в очках.

MASP вырос перед ней — бетонный, красный, парящий над землёй на своих четырёх опорах. Под зданием уже собирались люди. Небольшая очередь — десять, может пятнадцать человек — тянулась от лестницы вдоль ограждения. Они стояли терпеливо, с билетами в руках, с бумажными стаканчиками кофе, с тем спокойным ожиданием, которое бывает у людей перед чем-то хорошим.

Собака пробежала мимо них.

Не остановилась, не замедлилась, не посмотрела. Мимо первого человека в очереди, мимо второго, мимо десятого — рыжая булочка с мелькающими лапами, вверх по лестнице, через три ступеньки, четыре, — очки подпрыгнули на носу, — ещё три ступеньки, — и стеклянные двери разъехались перед ней, впуская внутрь.

Вестибюль был пуст. Утренний свет лежал на белом полу длинными золотыми полосами. Пахло деревом, и чем-то цветочным, и — откуда-то из глубины, едва уловимо — мясом.

За стойкой стояла девушка — невысокая, с короткой стрижкой, с бейджем на форменной футболке. Она подняла голову от бумаг и улыбнулась.

Собака остановилась посреди вестибюля. Рыжая, мокрая от пота, с розовым языком набок. Очки — чёрная прямоугольная оправа — сидели на морде криво, сползши на самый

кончик носа. Больше на ней ничего не было. Ни одежды, ни ошейника, ни бирки. Просто собака в очках, тяжело дышащая после бега, посреди пустого музея в восемь утра.

Она постояла на четырёх лапах — секунду, две. Отдышалась. Потом — спокойно, привычно, как человек, который встаёт с кресла, — поднялась на задние.

Поправила очки.

Летисия смотрела на неё из-за стойки — с той же улыбкой, с тем же теплом, с тем же совершенно искренним радушием, с которым она смотрела на всех, кто входил в эти двери.

— *Vom dia!* — сказала Летисия. — Вы на выставку?

Собака молча смотрела на неё. Очки блеснули в утреннем свете.

— Вы наш первый посетитель!

— Я экскурсовод, — сказал корги.

Тихо, ровно, без запинки — так, как произносят собственное имя. Не «я думаю, что я экскурсовод». Не «я, наверное, экскурсовод». Не «ну, я вообще-то...» Просто — я экскурсовод. Так же просто, как небо — голубое, как утро — раннее, как собака — собака.

Летисия не удивилась. Не переспросила. Не посмотрела на стоящую перед ней на задних лапах голую собаку в очках с тем выражением, с которым посмотрел бы любой нормальный человек. Она просто кивнула — легко, радостно, — как будто к ней каждое утро приходили устраиваться на работу корги.

— Чудесно, — сказала Летисия. — Мы вас ждали.

Корги протянул переднюю лапу. Коротко. Учтиво.

— Донна... — начал он.

— Летисия, — подсказала она услужливо и пожала лапу.

— Покажите мне залы, донна Летисия.

И они пошли — Летисия впереди, корги рядом, цокая когтями по белому полу. Невысокий ей по пояс. На задних лапах. В очках.

Они прошли мимо зала с надписью MODA — Летисия указала на дверь, что-то сказала о дизайне, о чёрном и белом, — и корги задержался у входа. На секунду. Может быть, на две. Заглянул внутрь. Потом пошёл дальше.

Когда они дошли до двери с надписью GARDE E CABERNET, на нём уже был жилет — классический, английский, из тёмно-серого твида с тонкой полоской. И бабочка — в мелкий горох, аккуратно завязанная. Летисия не заметила. Или не подала виду. Она говорила о расписании экскурсий, о том, что первая группа придёт в десять, и корги слушал, и кивал, и поправлял бабочку, как будто она была на нём всегда.

У входа в экспозицию стояли столы. Длинные, накрытые белыми скатертями, уставленные тарелками, бокалами, вазами с фруктами — праздничный фуршет, приготовленный к открытию. Маринованные оливки блестели в керамических мисках. Виноград — тёмный, крупный — свисал с серебряных блюд. Хлеб — свежий, с хрустящей коркой — был нарезан толстыми ломтями. И в центре всего этого великолепия, на большой деревянной доске, лежала мясная нарезка.

Корги замер.

Очки сползли на кончик носа. Хвост остановился. Ноздри раздулись — медленно, торжественно, — и он втянул воздух так, как верующий вдыхает ладан при входе в собор.

Летисия проследила за его взглядом и улыбнулась.

— Вот здесь у нас, — она указала на доску, — нарезка. Прошутто, брезаола, вот тут — рулетики с рикоттой. А вот здесь...

Её рука переместилась к краю стола, где на отдельной белой тарелке, уложенные аккуратным полукругом, лежали маленькие блинчики — тонкие, золотистые, свёрнутые трубочкой, с начинкой, которая чуть выглядывала из краёв.

Летисия наклонилась чуть ближе — к корги, к его стоячим ушам, к его поблёскивающим из-за очков глазам, — и сказала, понизив голос, как говорят о вещах по-настоящему важных:
— С божественным Паштетом.

Собака с чемоданом

I

Городок Элк-Крик стоял на берегу мутной речушки, давшей ему имя, и ничем не отличался от десятков таких же городков, рассыпанных по Великим равнинам, как просыпанное зерно — случайно и без всякого замысла. Две улицы, пересекавшиеся под прямым углом, четыре салуна на триста душ населения, скобяная лавка, контора землемера и — предмет особой гордости — телеграфная станция, связывавшая Элк-Крик с большим миром тонкой медной нитью, протянутой на столбах до самого Канзас-Сити.

Именно эта нить привлекла сюда странную пару путешественников.

Мариса привязала лошадей у коновязи напротив почтовой конторы и уставилась на вывеску: «WESTERN UNION TELEGRAPH OFFICE». Буква «F» отвалилась и висела на одном гвозде, покачиваясь от ветра, как повешенный. Мариса поправила шляпу и посмотрела вниз.

Корги сидел у её ног, задрав голову, и разглядывал провода с тем выражением сосредоточенного восторга, которое появлялось у него всякий раз, когда он видел электрические устройства. Его короткие уши стояли торчком, нос подрагивал, а в карих глазах плясали отражения медных проводов — или, быть может, формулы, которые только он один мог увидеть в этих линиях, уходящих к горизонту.

— Идеально, — выдохнул пёс, и кончик его хвоста дёрнулся.

Он произнёс это тихо, почти шёпотом, так что даже Мариса едва расслышала, хотя за месяцы совместных странствий она научилась улавливать его бормотание. Для постороннего наблюдателя это был бы неразличимый, едва слышный звук — нечто среднее между рычанием и скулежом. Но Мариса знала: корги говорил по-человечески. Это было одно из тех знаний, к которым невозможно привыкнуть и которое она предпочитала не обсуждать даже с самой собой.

— Что идеально? — она не разжимала губ, делая вид, что проверяет подпругу. Разговаривать с собакой на людной улице — верный способ оказаться в лечебнице для нервнобольных.

— Расположение. — Корги облизнулся, не сводя глаз с изоляторов. — Контора на отшибе, линия идёт на Канзас-Сити, а оттуда — прямой выход на чикагскую биржу. Если здесь есть тикерный аппарат...

— Если здесь есть — что?

— Тикерный аппарат, донна. Устройство мистера Эдисона. Выводит биржевые котировки на бумажную ленту. — Пёс нетерпеливо переступил с лапы на лапу. — Впрочем, для начала мне хватит и обычного телеграфа. Пойдёмте внутрь. Вы будете говорить, я буду слушать. И, ради всего святого, не наступите мне на хвост, когда будете открывать дверь.

Внутри телеграфной конторы пахло озоном, горелой бумагой и дешёвым табаком — и ещё чем-то неуловимым, тем особенным запахом электричества, который появляется, когда реле и катушки работают долго, без отдыха. Аппарат Морзе стоял на дубовом столе, окружённый бухтами проводов, катушками изолянта и россыпью карандашных огрызков. За столом сидел человек — невысокий, сутулый, с рыжеватыми бакенбардами и круглыми очками, сползавшими на кончик носа. Перед ним лежала раскрытая газета «Kansas City Star», и он изучал её с тем безнадёжным вниманием, с каким люди читают вчерашние новости в местах, где завтрашних не бывает.

— Мистер Уилкинс? — Мариса сверилась с запиской, словно шериф с ордером на арест. Человек поднял голову.

— Генри Уилкинс, телеграфист, почтмейстер и — по совместительству — единственный грамотный человек в этой дыре. — Он сложил газету, давая понять, что представление закончено. — Чем могу служить?

Мариса почувствовала, как корги ткнулся носом ей в лодыжку. Это означало: «Действуй по плану».

— Меня зовут Мариса Вальдес. — Она выпрямилась, стараясь выглядеть внушительнее. — Я представляю... — она запнулась на секунду, вспоминая заготовленную легенду, — ...торговую компанию «Пасифик Коммодитиз». Мы хотели бы арендовать часть вашего телеграфного времени для получения биржевых сводок.

Уилкинс снял очки, протёр их полой жилета и водрузил обратно — жест человека, который хочет убедиться, что правильно расслышал.

— Биржевых сводок? Здесь? — Он обвёл рукой контору, предлагая оценить абсурдность декораций. — Мисс, у нас тут за последний месяц было ровно четырнадцать телеграмм. Три из них — от миссис О'Брайен, которая требует, чтобы её сын вернулся из Денвера. Одна — от шерифа, который разыскивает лошадь. Остальные десять — от скотопромышленника, который торгуется с Канзас-Сити за цену на говядину. — Он помолчал, и в его голосе зазвучала усталая ирония. — Биржевые сводки. Ну-ну.

— Мы готовы платить.

Это были волшебные слова. Уилкинс снова надел очки и посмотрел на неё так, будто видел впервые.

— Сколько?

— Десять долларов в неделю за приоритетный доступ к линии.

Уилкинс моргнул. Потом моргнул ещё раз. Десять долларов в неделю — это было больше, чем он зарабатывал за месяц, если не считать почтмейстерского жалованья.

— Что именно вы собираетесь делать? — В его тоне прорезалась подозрительность человека, который знает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но никогда не видел сыра за десять долларов.

— Мы установим экспериментальный регистратор, — отчеканила Мариса, повторяя слова корги с точностью актрисы, заучившей роль. — Он будет автоматически записывать входящие сообщения на телеграфную ленту. Это новая разработка... — она снова запнулась, — ...компании «Вестерн электрик».

— Врёте. — Уилкинс хмыкнул, не без профессионального уважения. — Но за десять долларов в неделю мне, в общем-то, всё равно. Только условие: если ваш «регистратор» сломает мой аппарат, вы покупаете мне новый. И вот ещё что — откуда у вас такая собака?

Корги, который до этого момента мирно лежал у ног Марисы, поднял голову и посмотрел на Уилкинса. Уилкинс посмотрел на корги. Несколько секунд они разглядывали друг друга.

Корги, не меняя выражения морды, широко зевнул, обнажив внушительные для такой небольшой собаки клыки, и с преувеличенным усердием почесал задней лапой за ухом.

— Это... очень умная собака, — заключил Уилкинс с расстановкой.

— Вы даже не представляете, — тихо отозвалась Мариса, заметив, как пёс едва заметно подмигивает ей правым глазом.

II

Той ночью, когда Элк-Крик погрузился в сон, а из салунов доносились лишь храп припозднившихся пьяниц и скрип половиц, Мариса сидела в свете масляной лампы и наблюдала, как корги работает.

Она видела это не в первый раз, но каждый раз — каждый раз — испытывала одно и то же чувство: смесь изумления и лёгкого ужаса. Как будто ей позволили заглянуть за кулисы

мироздания и обнаружить там маленькую рыжую собаку, которая перебирает шестерёнки вселенной и ворчит, что они плохо смазаны.

Корги разложил свой чемодан на столе в арендованной комнатке над скобяной лавкой. Чемодан этот был его главным сокровищем — из телячьей кожи, с медными уголками и потайными замками, купленный у какого-то коммивояжёра в Сент-Луисе. Внутри, в отделениях, выложенных бархатом, лежали реле.

Реле. Дюжины реле. Маленькие электромагнитные реле, которые корги собирал, покупал, выменивал и — она подозревала — воровал по всему Среднему Западу. Каждое реле было аккуратно обёрнуто в промасленную бумагу и пронумеровано. Рядом лежали мотки тонкой медной проволоки, батареи Лекланше, перфоратор, самодельный считыватель перфоленты и нечто, напоминающее часовой механизм — латунный барабан с контактами, который корги называл «секвенсором».

— Донна, — окликнул корги, не отрываясь от клемм. Его лапы — короткие, толстые лапы вельш-корги-пемброка — двигались с невозможной ловкостью, скручивая провода и защёлкивая контакты. — Донна, вы когда-нибудь задумывались, как устроена биржа?

— Ни малейшего, — призналась Мариса.

— А зря. — Корги щёлкнул кусачками, перекусывая провод. — Биржа — это не зал с кричащими людьми в Чикаго. Это провода. Тысячи миль проводов. Цены на пшеницу, кукурузу, хлопок, свинину — всё это бежит по ним. Из Чикаго в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Канзас-Сити, а оттуда — сюда. — Он ткнул лапой в направлении телеграфной конторы. — И вот главный секрет: провода длинные, а скорость конечная. Пока котировка доберётся из Чикаго до Канзас-Сити, проходят минуты. Иногда десятки минут, если на линии заторы. А за эти минуты цена успевает измениться.

— И к чему это?

— К тому, что если я знаю цену в Чикаго раньше, чем она дойдёт до Канзас-Сити, я могу купить дёшево в одном месте и продать дорого в другом. Это называется арбитраж.

— Это называется жульничеством, — отрезала она.

— Нет, донна. — Пёс поглядел на неё с укоризной. — Это называется играть по правилам, но быстрее остальных. Закон не запрещает быть умным.

В его глазах не было ни тени лукавства — только холодная, собачья серьёзность.

— Я не краду, не обманываю и не подделываю телеграммы... пока. Я просто обрабатываю информацию быстрее, чем любой человек. Потому что у меня есть вот это.

Он ткнул лапой в чемодан с реле.

— И как это работает? — Мариса села поудобнее. Она знала, что объяснение будет долгим, но за эти месяцы научилась ценить лекции корги. Они были безумны, но в них была своя поэзия. Она взяла со стола одно из реле, тяжёлое и прохладное, и повертела в пальцах, рассматривая контакты.

— Смотрите. — Корги носом пододвинул к ней лист бумаги, испещрённый схемами. — Вот тикерная лента. Она приходит из Чикаго. На ней — котировки: пшеница, кукуруза, свинина. Цифры, буквы, символы. Мой считыватель — вот этот — переводит их в электрические сигналы. Каждая цифра — комбинация из пяти контактов: замкнут или разомкнут. Двоичный код, донна.

— Двоичный что?

— Неважно. Дальше: сигналы поступают в арифметический блок. Вот сюда. — Он указал на центральную часть схемы, где было нарисовано нечто, напоминающее паутину с десятками узлов. — Здесь шестнадцать реле, соединённых в четыре каскада. Они выполняют сравнение: если цена в Чикаго минус цена в Канзас-Сити больше порога — а порог я задаю вот этим переключателем — то на выходе появляется сигнал «Покупать». Если меньше — «Продавать». Если разница в пределах порога — «Ждать».

— И?

— И сигнал «Покупать» или «Продавать» включает перфоратор, который пробивает ленту с готовой телеграммой. Мне остаётся только вставить её в аппарат и отправить. — Корги помолчал, проверяя контакты зубами. — А в идеале — подключить перфоратор прямо к ключу и вообще ничего не делать. Машина сама отправит.

Мариса молчала, глядя на чемодан так, будто он мог в любой момент взорваться или заговорить человеческим голосом. За окном кричала ночная птица, и ветер нёс запах полыни и нагретой солнцем земли — запах Великих равнин, который она полюбила за эти месяцы, хотя никогда в этом не призналась бы.

— Ты хочешь сказать, — произнесла она наконец, — что чемодан с проволочками будет сам торговать на бирже?

— Не сам. Он будет принимать решения. Очень быстро. А торговать будет брокер в Канзас-Сити, которому я отправлю телеграмму. Мистер Джеремая Купер, «Купер и сыновья», биржевые операции. Я с ним уже списался. Он думает, что работает с торговым синдикатом из Сан-Франциско. — Корги ухмыльнулся, насколько это позволяла собачья пасть. — Людям нравится думать, что за деньгами стоят другие люди. Мысль о том, что за ними может стоять собака, их бы... обеспокоила.

— Меня она тоже беспокоит.

Корги не ответил. Он уже вернулся к работе, и его лапы снова мелькали среди проводов и реле с ловкостью, которая пугала больше, чем любая магия.

Это были лапы творца.

III

Три дня ушло на монтаж.

Корги работал по ночам, когда телеграфная контора была закрыта, а Уилкинс спал в своей комнатке при почте. Мариса стояла на стрёме, следя за улицей через щель в ставнях. Пёс, ловко орудуя лапами и зубами, подключал свой аппарат к телеграфной линии.

Подключение было, строго говоря, легальным. Корги заплатил за доступ, подписал контракт (Мариса расписалась за мифическую «Пасифик Коммодитиз»), и тикерная лента, которую он запросил из Чикаго, начала поступать через ретранслятор в Канзас-Сити. Но устройство, которое обрабатывало эту ленту, не было ни легальным, ни нелегальным — его просто не существовало ни в одном патентном бюро мира.

Когда монтаж был закончен, корги отступил на шаг и посмотрел на своё творение.

На грубо сколоченном столе в углу конторы стоял открытый чемодан. Из него торчали провода, как щупальца электрического спрута. Шестьдесят четыре реле были установлены в восьми рядах по восемь — аккуратных, выверенных, как солдаты на параде. Каждое реле было помечено крошечной бумажной биркой с номером, написанным мелким, но удивительно разборчивым почерком. Справа от реле стоял считыватель перфоленты — латунный барабан с пружинными контактами, который вращался с мягким шелканьем, похожим на треск сухих веток под ногами. Слева — перфоратор, переделанный из типографского пуансона, который выбивал ритм, напоминающий неровное, но настойчивое сердцебиение. Над всей конструкцией возвышалась одинокая электрическая лампочка — красная, в медном патроне, — подключённая к выходному каскаду.

— Красная лампа — «Покупать», — пояснил корги, не скрывая гордости. — Лампы нет — «Ждать». Когда я достану вторую лампу — зелёную — она будет означать «Продавать». Пока обойдёмся одной.

— Это безумие, — выдохнула Мариса, глядя на путаницу проводов.

— Это инженерия, — обиженно фыркнул пёс. — Безумие — это когда люди стоят в яме на Чикагской бирже и орут друг на друга, пытаясь угадать цену на свинину. Я не угадываю. Я считаю.

Он щёлкнул переключателем. Реле дрогнули, издав тихий, но отчётливый шелчок — как будто шестьдесят четыре маленьких рта одновременно сказали «да». Лампочка подмигнула красным глазом и погасла.

— Калибровочный цикл, — сообщил корги. — Двадцать минут. Идите спать, донна. Когда загорится красная лампа — будите меня.

— А если не загорится?

— Значит, рынок спит. — Мариса тревожно нахмурилась. — Как и нам следует.

Мариса легла на тюфяк в углу, но не спала. Она смотрела на чемодан с реле, и ей казалось, что она видит живое существо — не корги, а саму машину. Она дышала электрическим дыханием, и реле пощёлкивали, как суставы старика, устраивающегося в кресле. Тикерная лента ползла через считыватель с тихим шорохом — как змея по сухой траве. Время от времени барабан издавал звук — мягкий, металлический удар — и замирал.

Корги свернулся клубком под столом, подложив голову под лапу. Он спал. Но Мариса знала, что его сон — чуткий, звериный, мгновенно прерываемый любым изменением ритма. Если машина щёлкнет не так — он проснётся.

Она думала о дяде Рикардо, который научил её стрелять и ездить верхом, о матери, которая молилась за неё где-то в Соноре, о странной судьбе, которая свела её с говорящей собакой, строящей машины из реле и проволоки. Она думала о том, что мир — странное место, и что, возможно, самое странное в нём — не то, что собака умеет говорить, а то, что она при этом умеет считать.

Где-то около трёх часов ночи красная лампочка полыхнула в темноте, как глаз проснувшегося демона.

IV

Мариса села так резко, что ударилась затылком о стену. Лампочка горела — не мигала, не дрожала, а горела ровным, спокойным красным светом, заливая комнату неестественным багрянцем. В этом свете чемодан с реле выглядел как алтарь неизвестной религии, а перфоратор стучал — тук-тук-тук-тук — пробивая ленту с механической неумолимостью.

Корги уже не спал. Он стоял на задних лапах, опершись передними о край стола, и смотрел на ленту, которая выползала из перфоратора, как проповедник смотрит на скрижали.

— Пшеница! — его голос щёлкнул, как затвор. — Декабрьский фьючерс. Чикаго — семьдесят восемь и три четверти. Канзас-Сити — семьдесят девять и одна восьмая. Разница — три восьмых цента на бушель. При контракте в пять тысяч бушелей — восемнадцать долларов семьдесят пять центов чистыми за вычетом комиссии. — Он принюхался к запаху нагретого металла. — Нет. Подождите. Кукуруза тоже двинулась. Разница — полцента. Тридцать семь долларов пятьдесят центов. Итого... больше пятидесяти долларов за одну операцию.

— Пятьдесят долларов? За одну сделку? — Мариса протёрла глаза, уверенная, что услышала.

— Это больше, чем ковбой зарабатывает за месяц. — Корги спрыгнул со стола, цокая когтями по полу. — Донна, мне нужна ваша помощь. Подайте ленту в ключ. Я буду диктовать.

— Постой. Прямо сейчас? В три часа ночи?

— Рынок не спит, донна. Ночная сессия в Чикаго работает до четырёх. У нас сорок минут.

Мариса встала, подошла к аппарату и положила руку на ключ. За месяц корги научил её азбуке Морзе — не из педагогических побуждений, а из практических: ему самому было неудобно работать с ключом. Лапы были коротки, а ключ — тугой.

Она кивнула:

— Диктуй.

Корги прочитал перфоленту:

— «Куперу. Канзас-Сити. Покупать декабрь пшеница Чикаго пять тысяч бушелей лимит семьдесят восемь три четверти тчк. Покупать декабрь кукуруза Чикаго пять тысяч бушелей лимит сорок один одна восьмая тчк. Тихоокеанский синдикат».

Мариса отстучала телеграмму. Ключ щёлкал в тишине ночной конторы, и ей казалось, что этот звук слышен на всю прерию — как стук дятла по железному дереву.

Когда она закончила, корги произнёс:

— А теперь — ждём.

Они ждали. Мариса — сидя на стуле, корги — лёжа на полу, положив голову на лапы. Тикерная лента продолжала ползти, реле пощёлкивали, лампочка погасла. За окном начинало светлеть.

В пять часов утра аппарат ожил. Ключ задёргался сам по себе — входящее сообщение. Мариса взяла карандаш и начала записывать.

«Тихоокеанскому синдикату тчк. Обе позиции исполнены тчк. Пшеница куплена 78 3/4 продана 79 1/8 тчк. Кукуруза куплена 41 1/8 продана 41 5/8 тчк. Ваш счёт пополнен на 56 долларов 25 центов за вычетом комиссии тчк. Купер».

Мариса медленно опустила карандаш и посмотрела на корги.

Тот лежал на спине и чесал задней лапой пузо. На его морде было написано выражение абсолютного, космического блаженства.

— Пятьдесят шесть долларов, — мечтательно протянул он. — Знаете, донна, на эти деньги можно купить четыре фунта отличной говядины, два фунта бекона и дюжину реле.

— Или можно заплатить за комнату и еду на месяц. — Мариса поймала себя на том, что улыбается. Она попыталась согнать улыбку, но не смогла. И это было, пожалуй, страшнее всего.

— Или можно заплатить за комнату и еду на месяц, — согласился корги, облизываясь. — Но реле — куда интереснее.

V

За первую неделю машина сработала одиннадцать раз. Трижды — ночью, дважды — на рассвете, шесть раз — в рабочие часы, когда Уилкинс сидел за своим столом и мог слышать щелчки реле через стену.

Корги предвидел эту проблему и решил её с элегантностью прирождённого умельца: он соорудил деревянный кожух, обитый войлоком, который скрывал чехол и приглушал звук. Снаружи конструкция выглядела как обычный сундук — из тех, в которых старатели возят инструменты. Мариса поставила на него керосиновую лампу и пару книг, и кожух стал частью интерьера.

Но Уилкинс был телеграфистом. А телеграфисты — народ с тонким слухом.

— Мисс Вальдес, — он заглянул в их комнату на шестой день, под предлогом проверки линии, — у вас тут что-то щёлкает. Вот прямо сейчас. Слышите?

— Это часы, — отрезала Мариса, даже не моргнув.

— У вас очень странные часы. — Уилкинс наклонил голову к кожуху, прислушиваясь, как врач к сердцу больного. — Они щёлкают не ритмично. Как будто... считают что-то.

Корги, лежавший у двери, зевнул. Это был театральный зевок — широкий, с высовыванием языка и демонстрацией всех сорока двух зубов. Уилкинс машинально посмотрел на него, и корги воспользовался этим, чтобы ткнуться мордой в руку Уилкинса и преданно завилать обрубком хвоста.

— Хороший пёс, — Уилкинс улыбнулся, почёсывая корги за ухом. — Умный. Знаете, мисс Вальдес, мне иногда кажется, что он понимает каждое слово.

— Вам кажется, мистер Уилкинс. Просто кажется.

Уилкинс ушёл, но Мариса видела, что он не убеждён. Телеграфисты — народ с тонким слухом и длинным носом. Нужно было действовать осторожнее.

К концу второй недели счёт «Тихоокеанского синдиката» у Купера вырос на четыреста двенадцать долларов. Корги вёл записи в маленькой тетрадке, которую прятал в потайном отделении чемодана. Каждая сделка — дата, время, товар, цены, прибыль. Почерк был мелкий, но идеально ровный: корги научился писать, зажимая карандаш между передними лапами, и делал это с упрямой аккуратностью существа, которое не собирается позволять анатомии диктовать ему правила.

— Четыреста долларов, — Мариса заглянула в тетрадь. — Это серьёзные деньги.

— Это начало. — Корги перевернул страницу носом. — Мне нужно усовершенствовать арифметический блок. Сейчас он работает только с двумя биржами — Чикаго и Канзас-Сити. Если я добавлю третью — Сент-Луис — прибыль утроится. Но для этого нужны ещё тридцать два реле.

— Ты и так скупил все реле в округе.

— Вот именно. Нужно заказать из Чикаго. Тридцать два реле, четыре батареи Лекланше и — вот это важно — графофон.

— И зачем тебе эта игрушка?

— Устройство для записи и воспроизведения звука. Усовершенствованная версия фонографа мистера Эдисона. Восковой цилиндр вместо оловянной фольги. Качество звука — несравненное.

— Ты не ответил. Зачем?

Корги посмотрел на неё. В его глазах появилось выражение, которое Мариса научилась распознавать: мечтательная тоска гурмана, который увидел идеальный стейк.

— Мне сказали, — произнёс он тихо, почти благоговейно, — что существует запись салунного пианино. Какой-то энтузиаст в Нью-Йорке записал Бетховена, Шуберта и — самое главное — «Золотоискательский рил» в исполнении Билли Маккракена из «Серебряного доллара» в Тумстоуне. — Он вздохнул. — Я слышал Маккракена вживую, донна. Один раз, в восемьдесят втором году. Он играл так, что даже койоты перестали выть.

Мариса поймала себя на том, что задаёт вопрос, на который не хочет знать ответ:

— Ты был в Тумстоуне в восемьдесят втором? — подозрительно прищурилась она.

— Проездом. — Корги отвернулся и занялся чертежом, давая понять, что разговор окончен.

VI

Неприятности начались на третьей неделе.

Первым знаком была статья в «Kansas City Star» — маленькая заметка на последней странице, которую Уилкинс прочитал вслух Марисе, когда она пришла за почтой:

«ЗАГАДКА БИРЖЕВОГО ПРИЗРАКА. Ряд сделок на Канзас-Ситийской товарной бирже привлёк внимание экспертов своей необъяснимой точностью. Неизвестный трейдер, действующий через фирму „Купер и сыновья“, в течение двух недель совершил более двадцати

арбитражных операций с зерновыми фьючерсами, каждая из которых принесла прибыль. По словам экспертов, такая точность невозможна без доступа к инсайдерской информации или использования телеграфного перехвата. Расследование продолжается».

— «Телеграфный перехват», — повторил Уилкинс, снимая очки. — Мисс Вальдес, вы случайно не знаете, кто этот загадочный трейдер?

— Без понятия. — Мариса пожала плечами с наигранным равнодушием. Она была хорошим стрелком и сносным наездником, но скверной лгуньей. — С чего вы взяли?

— Ну, — Уилкинс протёр очки с видом человека, который наслаждается моментом, — с того, что вы каждую ночь сидите в моей конторе и отправляете телеграммы. И с того, что у вас в углу стоит ящик, который щёлкает. И с того, что ваша собака иногда смотрит на тикерную ленту так, как будто умеет читать.

Молчание длилось несколько секунд.

— Мистер Уилкинс, — Мариса заговорила медленно, тщательно подбирая слова, — сколько?

— Что — «сколько»? — голос её отвердел. — Сколько вы хотите за молчание?

Уилкинс надел очки, поправил их на носу и посмотрел на Марису поверх оправы.

— Мисс Вальдес, вы оскорбляете меня. Я не шантажист. Я — телеграфист. — Он помолчал. — Но если бы вы объяснили мне, как работает ваш ящик, я был бы вам крайне признателен. Потому что за двадцать лет в этой профессии я видел много странных вещей, но ящик, который читает тикерную ленту и самостоятельно принимает решения... — Он покачал головой. — ...это я вижу впервые.

Мариса посмотрела на корги, который сидел у её ног и внимательно слушал разговор.

Корги моргнул. Один раз — медленно, осознанно. На их условном языке это означало: «Решайте сами, донна».

— Мистер Уилкинс, — сказала Мариса, — если я вам расскажу, вы мне не поверите.

— Попробуйте.

— Это не я. — Она кивнула на пол. — Это собака.

Уилкинс посмотрел на корги. Корги посмотрел на Уилкинса. Потом корги зевнул, почесал ухо задней лапой и улёгся на пол, всем своим видом демонстрируя, что он — всего лишь животное, заинтересованное исключительно в еде и сне.

— Вы правы. — Уилкинс надел очки, и стёкла их холодно блеснули. — Я вам не верю.

VII

Вторым знаком были двое мужчин, которые приехали в Элк-Крик на вечернем дилижансе.

Мариса заметила их сразу — она научилась замечать опасность раньше, чем та заметит её. Это был урок дяди Рикардо, самый первый и самый важный: «В прерии выживает не тот, кто быстрее стреляет, а тот, кто первым видит».

Мужчин было двое. Первый — высокий, тощий, в чёрном сюртуке и котелке, с лицом, похожим на высохший овраг: глубокие морщины, впалые щёки, глаза-щели. Второй — коренастый, рыжий, с боксёрским носом и руками, которые висели вдоль тела, как два окорока. Они сошли с дилижанса, огляделись с видом людей, привыкших оглядываться, и направились напрямиком к телеграфной конторе.

Мариса стояла у окна, не отрывая от них взгляда.

— Донна, — донеслось из-за чемодана. — Что там?

— Двое. Городские. Идут к Уилкинсу.

— Опишите.

— Один высокий, в чёрном. Другой — боксёр. Или бывший боксёр.

Корги на мгновение замер, потом продолжил перебирать провода.

— Биржевые детективы. — Он втянул носом воздух, словно пытаюсь уловить их запах через стекло. — Или конкуренты. Или и то, и другое. Я ожидал их раньше, если честно. Мы слишком хорошо работали.

— И что теперь?

— Прятать машину. Живо.

— Куда?

— Под кровать.

Мариса посмотрела на чемодан. Потом на кровать. Потом снова на чемодан.

— Он не поместится.

— Поместится, если вынуть реле и разложить их отдельно. Двадцать минут.

— У нас нет двадцати минут. Они уже в конторе. Если Уилкинс скажет им про нас...

— Уилкинс не скажет, — отрезал корги. — Он любопытный, но не предатель. И мы ему платим.

— Десять долларов в неделю могут не перевесить того, что ему предложат эти двое.

Корги задумался. Потом:

— Тогда план Б. Убираем всё в чемодан, чемодан — в конюшню, под сено. Я остаюсь здесь и изображаю собаку. Вы — невинную путешественницу. Если они придут — мы ничего не знаем ни о какой бирже. Мы торгуем скобяными изделиями.

— Скобяными изделиями?

— У вас есть идея лучше?

У Марисы идеи лучше не было.

Они успели. Чемодан отправился в конюшню, зарытый под два тюка сена и прикрытый попоной. Мариса вернулась в комнату, расставила на столе каталоги скобяных изделий (которые корги предусмотрительно возил с собой — «для легенды, донна, для легенды»), и села ждать.

Ждать пришлось недолго.

Стук в дверь раздался через десять минут. Мариса открыла. На пороге стоял высокий в чёрном — теперь она видела его вблизи, и он нравился ей ещё меньше. Глаза-щели смотрели остро и холодно, как два гвоздя, вбитых в доску.

— Мисс Вальдес? — Голос был вежливый, но под вежливостью чувствовался металл — как железо под слоем краски.

— Кто спрашивает?

— Моё имя — Лестер Грант. Я представляю... — едва заметная пауза, — ...Чикагскую торговую палату. Мы расследуем ряд подозрительных транзакций, связанных с арбитражными операциями на зерновом рынке.

— Вы ошиблись дверью, мистер. Мой бизнес — гвозди и подковы.

— Разумеется, — Грант усмехнулся и заглянул через её плечо в комнату. Его глаза скользнули по столу с каталогами, по кровати, по керосиновой лампе, по корги, который лежал на полу у печки и с увлечением грыз кость. — У вас прелестная собака, мисс Вальдес.

— Спасибо.

— Корги, если не ошибаюсь? Порода пастушья, валлийская. Редкая порода для Канзаса. — Он помолчал. — Мисс Вальдес, телеграфист Уилкинс сообщил нам, что вы арендуете телеграфное время для получения биржевых сводок. Это так?

— Это так. Мой работодатель — компания «Пасифик Коммодитиз» — просил меня следить за ценами на железо и гвозди. Мы торгуем скобяными изделиями. Цены на железо зависят от биржевых котировок. Ничего противозаконного.

Грант смотрел на неё. Мариса смотрела на Гранта. Корги грыз кость, громко чавкая.
— Могу я осмотреть вашу комнату?

— Нет. — Рука Марисы машинально дёрнулась к поясу, где обычно висел револьвер, но сейчас его там не было. — Не без ордера шерифа.

Грант улыбнулся. Улыбка была тонкая, как порез бумагой.

— Разумеется. — Грант коснулся поля шляпы. — Доброго вечера, мисс Вальдес.

Он ушёл. Мариса закрыла дверь и привалилась к ней спиной. Сердце колотилось.

Корги перестал грызть кость и посмотрел на неё.

— Хорошо сыграно, донна. — Голос был тихий, но напряжённый. — Но у нас мало времени. Он вернётся. И в следующий раз у него будет ордер — или что-то похуже.

VIII

Следующие три дня были игрой в кошки-мышки — с той оговоркой, что мышь была умнее кошки, а кошек было две.

Грант и его коренастый напарник — Мариса узнала, что его зовут Бриггс — обосновались в салуне «Золотой колос» и начали расспрашивать местных. Кто такая мисс Вальдес? Чем занимается? Откуда у неё деньги? И что это за собака, которая всюду ходит с ней?

Местные, как и следовало ожидать, знали мало и говорили много. Мисс Вальдес — мексиканка, или, может, испанка, красивая, молчаливая, стреляет как мужик. Собака — обычная собака, только умная, как чёрт. Ходят слухи, что она гадает на картах, но это, скорее, враньё.

Грант слушал, записывал и продолжал следить.

Корги тем временем не терял времени. Он перенёс операции в ночной режим: Мариса пробиралась в контору через заднюю дверь (ключ дал Уилкинс, который, как и предсказывал корги, оказался на их стороне — из любопытства и за двадцать долларов в неделю вместо десяти), подключала чемодан и ждала. Корги сидел в конюшне и следил за конкурентами через щель в стене.

Однажды ночью Бриггс попытался проникнуть в контору.

Мариса услышала скрип двери — передней двери, которую они не использовали — и потянулась к револьверу. Но прежде чем она успела его достать, раздался звук, который заставил её замереть.

Рычание.

Низкое, утробное рычание — не собачье, нет. Волчье. Звук, от которого по спине бежали мурашки и кровь застывала в жилах. Звук, который говорил: «Я здесь, я тебя вижу, и если ты сделаешь ещё один шаг, я вырву тебе горло».

Корги стоял в дверном проёме, маленький, приземистый, с ушами, прижатыми к голове, и глазами, которые горели в темноте, как два жёлтых угля. Он был смешон — фунтов двадцать пять живого веса, короткие ноги, длинное тело, обрубок хвоста, — но рычание было абсолютно, нечеловечески убедительным.

Бриггс — двести фунтов мускулов и боксёрского опыта — попятился.

— Чёртова тварь, — выплюнул он, пятясь на ощупь. — Чёртова бешеная собака.

Он вывалился наружу и исчез в темноте.

Корги перестал рычать и посмотрел на Марису. Она выдохнула — только сейчас заметив, что всё это время не дышала.

Присев, она потрепала его по холке. Шерсть всё ещё стояла дыбом.

IX

На следующий день пёс принял решение.

Он сидел на тюке сена в конюшне, глядя на свой чемодан, и Мариса видела, что он думает. Когда корги думал — по-настоящему думал, — он замирал, как статуя, и только кончики ушей подрагивали, как антенны, ловящие сигналы из другого мира.

— Пора сворачиваться, — произнёс он наконец, не отводя взгляда от медных уголков чемодана.

— Почему? Мы же зарабатываем.

— Именно поэтому. Мы зарабатываем слишком хорошо. Грант — не дурак, и за ним стоят люди с деньгами и связями. Если он найдёт машину, произойдёт одно из двух: либо её конфискуют, либо — что хуже — скопируют. И тогда арбитраж перестанет работать, потому что все будут делать то же самое. — Он помолчал. — Знаете, что отличает умного игрока от проигравшего? Умный знает, когда выйти из игры.

— И когда?

— Сегодня ночью. Но сначала — последняя сделка.

— К чему этот риск?

Корги посмотрел на неё, и в его глазах появился знакомый огонёк — жадный, мечтательный, собачий.

— Потому что сегодня, донна, чикагский рынок откроется с гэпом. Я чувствую это. — Он ткнул лапой в тикерную ленту, которую просматривал утром. — Засуха в Небраске. Урожай пшеницы под угрозой. Чикаго ещё не знает — отчёт выйдет завтра утром, — но слухи уже пошли. Канзас-Сити отреагирует с задержкой. Разница будет не три восьмых цента, а три-четыре цента. — Он помолчал. — Это не пятьдесят долларов, донна. — Он сглотнул слюну. — Это пятьсот. Может быть, тысяча.

Мариса молчала. За стеной конюшни ржали лошади, и ветер свистел в щелях, как вестник перемен.

— Одна сделка, — сказала она наконец. — Последняя. И мы уезжаем.

— Идёт. — Корги коротко кивнул. — И ещё одно. Я хочу оставить Уилкинсу подарок.

— Какой?

— Инструкцию. Как собрать простейший арифметический блок из реле. Не для арбитража — для автоматического подсчёта слов в телеграммах. Он телеграфист, донна. Он заслуживает знать.

— Ты доверяешь ему?

— Я доверяю его любопытству. А любопытство — единственная сила, которая двигает мир. Всё остальное — только трение.

X

Последняя ночь в Элк-Крике.

Мариса пробралась в контору в два часа, когда луна спряталась за облаками и улица была темна, как дно колодца. Корги шёл рядом, прижимаясь к земле, и его рыжая шерсть сливалась с глинистой дорогой.

Уилкинс ждал их. Он сидел за своим столом, и на лице его было выражение человека, который готовится увидеть чудо. Или фокус. Или и то, и другое.

— Мистер Уилкинс, — сказала Мариса, — мы уезжаем сегодня ночью. Но сначала — одна последняя телеграмма.

— Знаю, — вздохнул Уилкинс, протирая очки. — Грант получил ордер. Шериф придёт утром. У вас есть шесть часов.

Корги посмотрел на Уилкинса. Уилкинс посмотрел на корги.

— Знаете, — Уилкинс заговорил медленно, словно взвешивая каждое слово, — за двадцать лет я повидал всякое. Ковбоев, которые отправляли телеграммы своим лошадям. Золотоискателей, которые телеграфировали Господу Богу. Одного сенатора, который по ошибке отправил любовное письмо жене вместо любовницы. — Он помолчал. — Но говорящую собаку, которая торгует на бирже, я вижу впервые.

Тишина.

Мариса открыла рот, чтобы возразить, но Уилкинс поднял руку.

— Мисс Вальдес, я телеграфист. Я двадцать лет слушаю электрические сигналы. Я различаю почерк каждого оператора от Чикаго до Денвера по звуку его ключа. — Он кивнул на корги. — Ваш пёс. Он не просто умный. Он понимает. Я видел, как он смотрит на ленту. Я видел, как шевелятся его губы, когда он читает. Я не знаю, как это возможно, и, честно говоря, не хочу знать. Но я хочу, чтобы вы знали: я не скажу никому. Ни Гранту, ни шерифу, ни даже миссис О'Брайен, хотя она спрашивает каждый божий день.

Корги молчал. Потом он подошёл к Уилкинсу, сел перед ним и поднял правую лапу.

Уилкинс на мгновение замер, потом медленно, словно во сне, протянул руку и пожал короткую пушистую лапу.

— Благодарю вас, мистер Уилкинс, — произнёс корги с достоинством английского лорда.

Уилкинс побледнел. Потом покраснел. Потом снова побледнел.

— Господи боже... — прошептал он побелевшими губами.

— Не совсем, — отозвался корги. — Но близко.

Машина заработала в три часа двадцать семь минут. Тикерная лента принесла первые котировки ночной сессии: пшеница в Чикаго подскочила на два с половиной цента. Канзас-Сити ещё спал.

Реле защёлкали — дробно, быстро, как кастаньеты в руках андалузской танцовщицы. Красная лампочка вспыхнула и горела не мигая. Перфоратор выбил ленту.

— Всё, — отчеканил корги. — Покупаем двадцать тысяч бушелей пшеницы в Чикаго по восемьдесят одному центу. Продаём в Канзас-Сити по восемьдесят три с четвертью. Разница — два с четвертью цента. Прибыль...

Он замолчал, считая в голове.

— Четыреста пятьдесят долларов. За вычетом комиссии — около четырёхсот.

— Отправляй, — скомандовала Мариса.

Она села за ключ и отстучала телеграмму. Привычные щелчки ушли в провода, побежали по медной нити через тёмную прерию, через спящие городки и безлюдные станции, к Канзас-Сити, где мистер Джеремайя Купер, «Купер и сыновья», получит приказ от «Тихоокеанского синдиката» — организации, которой не существовало, — и выполнит его, потому что деньги на счету были настоящие, и прибыль была настоящей, и кому какое дело, кто стоит за этим — человек, собака или машина из шестидесяти четырёх реле?

Ответ пришёл через сорок минут.

«Тихоокеанскому синдикату тчк. Позиция исполнена тчк. Пшеница куплена 81 продана 83 1/4 тчк. Ваш счёт кредитован на 412 долларов 50 центов за вычетом комиссии тчк. Прошу указать адрес для перевода остатка средств тчк. Купер».

— Четыреста двенадцать, — подсчитал корги. — Плюс то, что уже на счету... — Он достал блокнот и быстро пробежал по колонкам. — Восемьсот двадцать четыре доллара. Минус расходы на реле, батареи, аренду и жалованье мистеру Уилкинсу... — Он пожевал карандаш. — Чистыми — около шестисот.

— Шестьсот долларов, — повторила Мариса. — За три недели.

— За три недели. — Корги самодовольно чихнул. — Неплохо для собаки с чемоданом.

Уилкинс, который стоял в углу и наблюдал за происходящим с выражением человека, присутствующего при сотворении мира, тихо спросил:

— Один вопрос?

— Валяйте.

— Как?

Корги посмотрел на него. Потом — на машину, на чемодан с реле, на тикерную ленту, которая всё ещё ползла через считыватель.

— Мистер Уилкинс, — начал он, — вы когда-нибудь видели, как пастушья собака управляет стадом? Она не быстрее овец. Она не сильнее. Но она знает, куда побежит каждая овца, прежде чем овца это знает сама. — Он помолчал. — Рынок — это стадо. А я — пастух.

— Но вы же... собака.

— Именно. Именно поэтому это работает.

XI

Они уехали до рассвета.

Корги упаковал чемодан, вытащил из него блок из тридцати двух реле — половину арифметического устройства — и оставил его на столе Уилкинса вместе с конвертом. В конверте была инструкция: восемь страниц мелкого почерка, схемы, объяснения. Как собрать простейший двоичный сумматор. Как подключить его к телеграфному аппарату. Как автоматизировать подсчёт символов.

— Это не арбитражная машина, — пояснил корги, кладя конверт на стол. — Это просто калькулятор. Но если он разберётся, как это работает, может, когда-нибудь построит что-то лучше.

— А если расскажет кому-нибудь?

— Расскажет. Обязательно расскажет. Он — телеграфист, донна. Они не умеют молчать. — Корги помолчал. — Но это и хорошо. Знания должны распространяться. Иначе они умирают.

Лошади были осёдланы, вьюки затянуты. Мариса проверила подпруги, патронташ и фляги с водой. Корги запрыгнул в специальную корзину, которую Мариса приторочила к седлу — он называл её «командным модулем» и отказывался путешествовать иначе.

Элк-Крик остался позади — тёмный, тихий, спящий. Телеграфные провода тянулись вдоль дороги, и в предрассветных сумерках они казались серебряными нитями, связывающими землю с небом.

XII

— Куда теперь?

— На запад. — Пёс вытянул нос, ловя ветер. — В Денвер. Там есть контора «Вестерн Юнион» с выделенной линией на Нью-Йорк. И, что важнее, там есть магазин Томаса Фаулера, который продаёт графофоны с восковыми цилиндрами. — Он вздохнул. — Денвер, донна. Город будущего.

Мариса усмехнулась.

— Ты мог бы переплюнуть Рокфеллера. Шестьсот долларов за три недели. Если бы ты остался...

— Если бы я остался, я бы заработал больше, — согласился корги. — А потом Грант нашёл бы машину, и люди с деньгами забрали бы её. Или, что хуже, они нашли бы меня. И тогда

я перестал бы быть свободной собакой, а стал бы лабораторным экспонатом. — Он помолчал. — Нет, донна. Шестьсот долларов — достаточно. Мне не нужны миллионы. Мне нужно мясо, реле, графофон с записью «Золотоискательского рила» и свобода.

— И всё?

— И всё. — Корги посмотрел на горизонт, где небо светлело, наливаясь розовым и золотым — цветами, которые не мог воспроизвести ни один тикерный аппарат. — Знаете, донна, люди думают, что деньги — это цель. Но деньги — это инструмент. Как реле. Или как телеграф. Важно не сколько у тебя реле, а что ты с ними сделаешь.

— Философия от собаки. Мой дядя не поверил бы.

— Ваш дядя — мудрый человек. Именно поэтому он научил вас стрелять, а не считать деньги.

Они ехали на запад, и утреннее солнце било им в спины, удлиняя тени — тень женщины на лошади и маленькую, смешную тень корги в корзине.

Мариса думала о том, что произошло за эти три недели. О чемодане с реле, которые щёлкали в темноте, как зубы неведомого зверя. О красной лампочке, которая загоралась посреди ночи, возвещая прибыль. О мистере Уилкинсе, который пожал лапу говорящей собаке и не сошёл с ума. О Гранте с его глазами-гвоздями, который искал призрака и не нашёл. О шести стах долларах в седельной сумке — настоящих, осязаемых, заработанных машиной, которую не изобрёл ещё ни один человек на земле.

— Знаешь, — задумчиво протянула она, — я думала, что магия — это что-то сверхъестественное. Святые, духи, молитвы. А ты просто собрал коробку с проволочками.

— Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.

— Твоя фраза?

— Нет. Но тот, кто придумает, ещё не родился. — Корги устроился поудобнее в корзине и прикрыл глаза. — Разбудите меня, когда мы доедем до Денвера, донна. Или, когда увидите вывеску мясной лавки. Что наступит раньше.

Мариса натянула поводья, и лошадь перешла на рысь. Впереди лежала прерия — бескрайняя, золотая, равнодушная ко всем тайнам, которые несли по ней путешественники. Телеграфные провода тянулись рядом, гудя на ветру, и в этом гудении, если прислушаться, можно было различить голоса — сотни голосов, бегущих по медным нитям из города в город: приказы и просьбы, цены и новости, любовные признания и уведомления о смерти.

Где-то среди этих голосов затерялись и телеграммы «Тихоокеанского синдиката» — призрака, который три недели обыгрывал биржу, а потом исчез, не оставив следа. Ни одного. Если не считать тридцати двух реле на столе телеграфиста в Элк-Крике и инструкции, написанной мелким, идеально ровным почерком — собачьим почерком, но этого, конечно, никто никогда не узнает.

Впрочем, даже если узнает — ни за что не поверит.

Курицу, пожалуйста

I

Мариса опаздывала. Не как обычный пассажир, задыхающийся от паники под мигающее табло «LAST CALL», а профессионально — на четыре минуты. Одиннадцатого декабря две тысячи двадцать шестого года она вбежала по трапу частного терминала Тетерборо, сжимая в заледеневших пальцах ручку кожаной сумки, чей ремень больно врезался в плечо сквозь тонкую ткань форменного жакета. Нью-Джерсийский турнпайк в пятницу вечером был беспощаден, как дикий зверь, и вымотал её до предела. За стёклами такси — обычного такси, с живым водителем, который чертыхался на каждом светофоре, — мелькали рождественские огни, отражаясь в лужах. Мариса считала минуты, вдавливая ногти в ладонь.

Трап был влажным от мелкого декабрьского дождя. Шершавая рифлёная поверхность ступеней скользила под подошвами форменных туфель. Мариса поднималась быстро, но осторожно — упасть на трапе перед клиентом значило не просто оступиться, а совершить немислимый, невозвратный faux pas, который потянет за собой объяснительную, разбор на уровне менеджмента и — в худшем случае — вычёркивание из ротации.

Она влетела в салон, на ходу поправляя тёмно-синий платок с золотой монограммой, чуть царапнувший влажную шею. Чеклист инстинктивно пронёсся в голове: запотевшая бутылка шампанского охлаждается в серебряном ведёрке, икра на месте, кашемировые пледы, чей ворс на ощупь мягче снега, разложены в ногах каждого кресла, аромадиффузор наполняет воздух запахом бергамота и белого чая. Она проверила кейтеринг ещё в машине, листая экран телефона большим пальцем: горячее — два варианта, десерт — чизкейк с юзу, сырная тарелка — пармезан тридцатилетней выдержки, грюйер, горгонзола. Всё по спецификации. Она мысленно пробежалась по инвентарю — льняные салфетки, столовое серебро, запасной комплект фарфора на случай турбулентности. Всё было идеально.

Кроме одного: в первом кресле по левому борту, обтянутом кожей цвета тёплого песка, уже сидел пассажир. Вельш-корги пемброк.

Его рыже-белая шерсть отражала салонный свет, как дорогой шёлк. Уши стояли торчком, словно пара чутких локаторов, сканирующих лётное поле за иллюминатором. На шее животного, поблёскивая в полумраке, висел небольшой полированный металлический диск на тонкой цепочке — размером с крупную монету, но тоньше, изящнее, с едва заметным матовым свечением по краю. Ни хозяйина, ни переноски, ни шуршащих ветеринарных документов нигде не было. Кресло напротив пустовало. Кресла позади — тоже. Весь салон, рассчитанный на четырнадцать пассажиров, принадлежал одному существу весом в тринадцать килограммов.

Мариса провела языком по пересохшим губам. За три года в бизнес-авиации — сначала стажировка в Лозанне, потом контракт с оператором из Коннектикута — она обслуживала нефтяных шейхов, голливудских продюсеров, тихих людей в серых костюмах, чьи имена нельзя было произносить вслух. Однажды летела с живым леопардом в клетке, принадлежавшим эмиру из залива. Но леопард хотя бы был в клетке. И рядом сидел ветеринар. И был хозяин.

Из динамиков раздался безупречно ровный, отполированный голос, лишённый малейших человеческих шероховатостей, — ни дыхания, ни микропауз, ни того едва уловимого щелчка языком, который выдаёт живого человека перед началом фразы. Голос объявил о начале рулёжки. Самолёт дрогнул, толкнув Марису в пятки, и тяжёлая машина медленно пока-

тилась по мокрому асфальту. Огни рулёжных дорожек потянулись за окном — синие, зелёные, жёлтые. Хозяин так и не появился.

Мариса опустила в служебное откидное кресло у камбуза, пристегнула ремень и усталилась на спинку кресла перед собой. Где-то в глубине сознания тихий голос — голос мадам Форнье, преподавателя по протоколу обслуживания в Лозанне — произнёс:

«Пассажир всегда прав. Даже если пассажир — это нечто, которого нет в вашем учебнике. Особенно тогда».

II

На высоте десяти тысяч футов гул турбин превратился в глубокий баритон виолончели, а салон залил приглушённый янтарный свет, густой, как мёд. Электрохромные стёкла иллюминаторов автоматически перешли в режим «закат» — мягкое затемнение, сквозь которое ещё можно было различить последние розовые полосы на горизонте. Мариса отстегнула ремень, одёрнула жакет, проверила, что платок на шее лежит ровно, и подошла к камбузу.

Галлея была безупречна. Выдвижные ящики с бархатистым покрытием внутри, предотвращающим звон посуды при турбулентности. Духовка, уже прогретая до ста восьмидесяти градусов по заложенной программе. Кофемашина — итальянская, капсульная, с отдельным резервуаром для фильтрованной воды. Мариса взяла тяжёлую кожаную папку меню с золотым тиснением, ощутив привычную тяжесть переплёта в руке — около четырёхсот граммов, она знала точно, потому что однажды взвешивала из любопытства, — и направилась к креслу.

— Могу я предложить вам... — она осеклась, осознав, что зачитывает заученный приветственный текст собаке.

Лозанна, курс Fine Dining, первый модуль: приветствие пассажира. «Добрый вечер, мистер... или миссис... Могу я предложить вам ознакомиться с нашим меню?» Улыбка — на три четверти, не шире. Зрительный контакт — две секунды, потом перевести взгляд на меню. Но в модуле не было пункта «если пассажир — корги, который не мигая смотрит на тебя с высоты кожаного кресла».

Корги повернул голову. Его взгляд не просил ласки и не ждал инстинктивной команды «сидеть» или «лежать». Это был холодный, горизонтальный взгляд существа. Карие глаза, окружённые тёмной маской шерсти, смотрели с выражением, которое Мариса видела, что удивительно, только у одного типа людей — у тех, кто подписывает чеки с девятью нулями и не считает нужным объяснять зачем.

Он кивнул на меню — коротко, рассеянно, как вожак, отгоняющий назойливого щенка. Жест был настолько человеческим, что у Марисы перехватило дыхание.

Она положила папку на откидной столик из полированного ореха. Столик выдвинулся бесшумно, на гидравлических петлях. Корги даже не опустил взгляд.

Мариса отступила за занавеску камбуза, чувствуя, как по позвоночнику скользит ледяная капля пота, проделывая длинный извилистый путь от основания шеи до поясницы. Её пальцы дрожали. Она сцепила руки за спиной — приём из лозаннской школы, параграф «Контроль моторики в стрессовых ситуациях», — и заставила себя дышать ровно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.